

**ПАВЕЛ
МЕЛЬНИКОВ-ВЕЧЕРСКИЙ
КНЯЖНА ТАРАКАНОВА
И ПРИЦЕССА ВЛАДИМИРСКАЯ**

Павел Иванович Мельников-Печерский Княжна Тараканова и принцесса Владимирская

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2377585

Княжна Тараканова и принцесса Владимирская : повести, рассказы, письма, очерк / Павел Мельников (Андрей Печерский).: Эксмо; Москва;

2011

ISBN 978-5-699-52030-5

Аннотация

«Об этой самозванке писали иностранцы с разными, по обыкновению, прикрасами. Они-то и утвердили мнение, будто эта женщина действительно была дочерью императрицы, имевшею законное право на русский престол, что, взятая в Италии графом Алексеем Григорьевичем Орловым-Чесменским, она была привезена в Петербург, заточена в Петропавловскую крепость и там, 10 сентября 1777 года, во время сильного наводнения, затоплена в каземате, из которого ее забыли или не хотели вывести...»

Содержание

I	5
II	11
III	16
IV	20
V	23
VI	34
VII	44
VIII	47
IX	55
X	62
XI	67
XII	74
XIII	79
XIV	84
XV	91
XVI	105
XVII	111
XVIII	118
XIX	126
XX	131
XXI	138
XXII	142
XXIII	148

XXIV	156
XXV	162
XXVI	171
XXVII	176
XXVIII	183
XXIX	194
XXX	206
XXXI	213
XXXII	220
XXXIII	224
XXXIV	240
XXXV	254
XXXVI	261
XXXVII	273
XXXVIII	283
XXXIX	289
XL	296

Павел Иванович Мельников-Печерский Княжна Тараканова и принцесса Владимирская

I

Впервой книжке «Чтений», издаваемых императорским Московским Обществом Истории и Древностей, 1867 года, помещены доставленные почетным членом этого Общества, графом В. Н. Паниным, чрезвычайно любопытные сведения о загадочной женщине, что в семидесятых годах прошлого столетия, за границей, выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны, рожденную от законного брака ее с фельдмаршалом графом А. Г. Разумовским. Время появления самозванки весьма знаменательно: оно явилось непосредственно за первым разделом Польши и одновременно с Пугачевым. Близкие сношения ее с поляками, уехавшими за границу, особенно же с знаменитым князем Карлом Радзивилом, коронным генеральной конфедерации маршалом, палатином виленским, с этим магнатом, обладавшим несметными богатствами, идолом шляхты, известным под именем

«пане коханку», не оставляют сомнения, что эта женщина была орудием польской интриги против императрицы Екатерины II.

Об этой самозванке писали иностранцы с разными, по обыкновению, прикрасами. Они-то и утвердили мнение, будто эта женщина действительно была дочерью императрицы, имевшею законное право на русский престол, что, взятая в Италии графом Алексеем Григорьевичем Орловым-Чесменским, она была привезена в Петербург, заточена в Петропавловскую крепость и там, 10 сентября 1777 года, во время сильного наводнения, затоплена в каземате, из которого ее забыли или не хотели вывести.

В 1863 году в Петербурге, на художественной выставке Академии Художеств, обращала на себя внимание публики картина даровитого художника, покойного Флавицкого, изображающая ужасную смерть «княжны Таракановой». Картина эта в 1867 году была отправлена на Парижскую всемирную выставку. Она изображает женщину, одетую в поношенное и уже изорванное платье из атласа и бархата, стоящую на кровати, покрытой овчинным одеялом. В окно с железною решеткой хлещет вода и наполняет комнату; крысы плавают, пробираются на кровать и на платье заключенной. Несчастная в отчаянии смотрит на неизбежную гибель. Картина г. Флавицкого, заслуживающая, по отзывам знатоков, большую похвалу в отношении художественном и удостоенная Академией заслуженной награды, еще более распро-

странила в публике уверенность в истине небывалого происшествия, придуманного досужими иностранцами, писавшими много разнообразного вздора об Екатерине II. Самозванка (а не настоящая княжна Тараканова) действительно была заключена в Петропавловской крепости, но, как видно из опубликованных теперь и не подлежащих никакому сомнению известий, – умерла от чахотки года за два до наводнения 1777 года.

Манштейн и некоторые другие иностранные писатели говорят, что императрица Елизавета Петровна тайно вступила в законный брак с Алексеем Григорьевичем Разумовским. Об этом несколько раз говорено было и в русской печати. В первый раз сделал печатный намек о браке Елизаветы г. Бантыш-Каменский в 1836 году. В его «Словаре достопамятных людей Русской земли» (т. IV, биография А. Г. Разумовского) сказано: «Манштейн в своих «Записках» сохранил любопытные, но едва ли достоверные подробности об отношениях императрицы Елизаветы к графу Разумовскому». Из напечатанных в России известий о тайном браке императрицы особенно замечателен «Рассказ о браке императрицы Елизаветы Петровны», напечатанный в третьей книжке «Чтений в Обществе Истории и Древностей» 1863 года. Это рассказ покойного графа С. С. Уварова, который женат был на последней в роде Разумовских, графине Екатерине Алексеевне (ум. 1849 г.), и слышал о таинственном браке от своего тестя, приходившегося родным племянником графу Алексею

Григорьевичу. В своем месте мы передадим этот в высшей степени любопытный рассказ.

О браке императрицы Елизаветы Петровны с Разумовским и о детях, рожденных ею от этого брака, сохранилось у нас немало преданий. Предания эти обращались и обращаются не в одном тесном кружке высшего общества; в простом народе из поколения в поколение передаются рассказы о браке императрицы с ее подданным и о судьбе их детей. Так, в Москве народ, указывая на церковь Воскресения в Барашах, крест на которой увенчан короной, говорит, что здесь венчалась царица Елизавета и что в память этого события брачный венец поставлен на кресте церковном. На находящийся неподалеку от этой церкви дом, строенный по проекту графа Растрелли и занимаемый теперь четвертою гимназией¹, указывают как на дом, где тихо праздновалась тайная свадьба, где некоторое время жил Разумовский с царственной своею супругой. В Пучеже сохраняются в народе предания о дочери Елизаветы, жившей будто бы в этом посаде при Пушавинской церкви, под именем Варвары Мироновны Назарьевой или инокини Аркадии, и умершей в 1839 году². По-

¹ Дом этот принадлежит кн. Трубецкому и известен в Москве под названием «Комода».

² Во второй книжке «Чтений Общества Истории и Древностей» 1866 года напечатана статья г. Семевского «Заметка об одной могиле в посаде Пучеже». В ней сказано, что эта Варвара Мироновна была не кто иная, как дочь императрицы Елизаветы. На месте действительно ходит такой слух в народе, но Варвара Мироновна ничего общего с княжной Таракановой не имеет.

добные предания сохраняются и по другим местам: в некоторые женские монастыри, например, в Арзамасе, в Екатеринбурге, в Уфе, в Нижнем, в Костроме и других местах, с таинственностью привозили в прошлом столетии женщин, принадлежавших к высшему сословию, и они в укромных обителях доживали свои дни. То были женщины, которых, по неизвестным еще пока причинам, как «умалишенных», удаляли из общества под попечительный надзор игумений³. Всем почти таким заточенницам, как и пучежской Варваре Мироновне, местная молва приписывала происхождение от императрицы Елизаветы... В селе Работках, Макарьевского уезда, Нижегородской губернии, сохраняется память о бывшем тамошнем помещике Шубине, за которого будто бы императрица Елизавета желала выйти замуж, но он отказался от этой чести, уступив царственную невесту Разумовскому. В Переславле-Залесском сохраняется предание о браке Елизаветы и о том, что в этом городе, в одном из тамошних монастырей, жил князь Тараканов, рожденный от этого брака. В Александровске, Владимирской губернии, где жила некоторое время Елизавета Петровна, еще бывши цесаревной, также сохраняется предание о браке ее с Разумовским. В Ярославской, Владимирской и Тверской губерниях нам слу-

³ Для мужчин в XVIII столетии устроены были особые казематы в монастырях Соловецком и Спасо-Евфимьевом Суздальском. Они ссылались туда под названием «умалишенных». Теперь в казематах обоих этих монастырей содержатся преимущественно духовные лица, а также разные секгаторы, признанные вредными.

чалось слышать такое же народное предание.

Все эти предания отличаются местными подробностями, но сводятся на следующее: императрица Елизавета вступила в тайный брак с Разумовским и имела детей – сына и дочь. Как рожденные от брака хотя и законного, но тайного, они не имели права на престолонаследие и по возрасту убеждены были добровольно отказаться от света и посвятить жизнь свою служению богу, дабы не сделаться орудием честолюбцев, которые могли бы употребить их имя и мнимые права для достижения собственных своекорыстных целей, дабы не быть таким образом невольною причиною весьма возможных в прошлом столетии политических замешательств. Ни о желании детей Елизаветы занять высокое положение своей матери, ни о жалобах их на печальную судьбу свою предания не упоминают ни слова. Должно быть, Таракановы были далеки от честолюбия и оставались довольны своею скромною долей. Хотя в царствование Екатерины II и являлось немало самозванцев, принимавших на себя имя Петра III, но самозванцы Таракановы не могли явиться в России. Самозванка явилась лишь за границей.

II

Цесаревна Елизавета Петровна родилась в год Полтавской победы, и когда умерла ее мать, императрица Екатерина I, ей только что исполнилось восемнадцать лет. Она была редкой, необычайной красоты. Портреты ее, находящиеся в Романовской галерее и в галерее Гатчинского дворца, свидетельствуют, как красива, как привлекательна была она во время первой молодости. Веселый, беззаботный характер и сердечная доброта отражались на нежных чертах миловидного лица белокурой цесаревны. Она была грациозна и приводила в восхищение всех знавших ее. Обе дочери Петра Великого, по справедливости, назывались первыми красавицами Севера. Берхгольц в своем «Дневнике» так описывает ее: «По левую сторону царицы стояла вторая принцесса, белокурая и очень нежная, лицо у нее, как и у старшей, чрезвычайно доброе и приятное. Она годами двумя моложе и меньше ростом, но гораздо живее и полнее старшей, которая немного худя»⁴. Елизавета не отличалась ни блестящими свойствами ума, ни политическими способностями; она любила удовольствия, любила роскошь, мир, тишину, была беспечна, ленива и, как известно, не искала престола, желая лишь одного: полной свободы действий в частной жизни. Самое вступление ее на

⁴ «Дневник камер-юнкера Берхгольца», 1, 54.

престол совершилось почти помимо ее воли; известно, что приверженцам ее немало было труда – склонить цесаревну к решительным действиям; только страх монастырского заключения заставил беспечную, ленивую и начинавшую уже отцветать красавицу сделать желанный другими, но не ею, решительный шаг.

Еще при жизни матери Елизавета объявлена была невестой голштинского принца Карла Августа, епископа Любского; но брак не состоялся по случаю смерти жениха, последовавшей месяца через полтора по кончине Екатерины I. Через месяц после того (25 июля 1727 г.) старшая сестра Елизаветы, герцогиня голштинская Анна Петровна, с горестными слезами уехала с мужем из России в Голштинию, измученная нападками всеильного князя Меншикова. Елизавета Петровна осталась в одиночестве. Она была сирота, в полном смысле этого слова: ни отца, ни матери, ни доброго руководителя у восемнадцатилетней девушки, пылкой, страстной, готовой пожертвовать, пренебречь всем для удовольствий и свободной, веселой жизни. Император, племянник ее, был еще очень молод, бабушка его, царица Авдотья Федоровна, не могла питать нежных чувств к дочери своей соперницы, которую считала причиной своих злоключений и плачевной кончины своего сына. К тому же она жила в монастыре, и двор был совсем чужд ей. Сестра императора, Наталья Алексеевна, была только годом старше своего брата и, кажется, не любила Елизавету. Царевны, доче-

ри царя Ивана Алексеевича, жили в Москве; к ним Елизавета также находилась в самых холодных отношениях; словом, в царской семье она была совершенно чужою. Она потеряла всякое значение и в глазах верховных сановников империи, особенно после падения Меншикова. Остерман предложил было обвенчать четырнадцатилетнего императора на его тетке Елизавете, чтобы таким образом соединить потомство Петра Великого от обеих жен. Но эта немецкая выдумка не могла быть приведена в исполнение: уставы православной церкви не дозволяют брака в столь близкой степени родства. Некоторое время Елизавета находилась с своим племянником-императором в самых приятных, в самых близких, коротких отношениях и имела на него большое влияние. Остерман это хорошо понимал и потому предлагал невозможный брак. По падении Меншикова, когда двор переселился в Москву, на Петра II имела большое нравственное влияние сестра его Наталья Алексеевна, что не нравилось князьям Долгоруковым, самым близким людям к императору. Любимец государев, князь Иван Алексеевич Долгоруков, по внушению своего отца, чтобы поссорить брата с сестрой или по крайней мере охладить его к ней, всячески старался возбудить привязанность его к Елизавете. Очарованный прелестью своей тетки, Петр предался ей со всем пылом молодости, не скрывал ее на себя влияния даже во многолюдных собраниях и безусловно следовал ее внушениям. Долгоруковы не предвидели, что влияние Елизаветы будет так велико,

и искали способа удалить ее. Они придумали выдать ее замуж за известного Морица Саксонского, с 1725 года домогавшегося Курляндского герцогства. Это, однако, не состоялось, и когда Елизавета Петровна своим легкомыслием сама разрушила свою силу, потеряв влияние на племянника, Долгоруковы более не заботились о сватовстве ее. Последнее время Петрова царствования и первые годы Анны Ивановны цесаревна Елизавета жила отдельно от двора, в слободе Покровской, ныне вошедшей в состав города Москвы, в Переславле-Залесском и Александровской слободе (ныне город Александровск), нуждаясь нередко в денежных средствах. По своей беспечности, склонности к удовольствиям и крайнему нерасположению к труду она была совершенно безопасна для Анны Ивановны, но духовное завещание Екатерины I, по которому, в случае бездетной кончины Петра II, русская корона должна была перейти в руки одной из цесаревен, было всем памятно; оно беспокоило Анну и ближайших ее приверженцев. За Елизаветой учрежден был секретный, но бдительный надзор, но напрасно соглядатаи старались подметить в ней какие-либо политические замыслы. При дворе Елизаветы не было почти никого из знатных людей, в Покровском она нередко проводила время с слободскими девушками, в летние вечера водила с ними на лугу хороводы, пела песни и даже сочиняла их. Таким образом песня:

Во селе, селе Покровском,
Середь улицы большой,
Расплясались, расскакались
Красны девки меж собой —

приписывается Елизавете Петровне. В Переславле и Александровской слободе она также сближалась с простолюдинами. Это обратило на себя подозрительное внимание большого двора, уже переселившегося в Петербург. Боялись, чтоб она не приобрела такой популярности, которая могла бы сделаться опасною для императрицы. Елизавету вытребовали в Петербург, где она и поместилась в особом доме, называемом Смольным и находившемся в конце нынешней Воскресенской улицы. Впоследствии увидели, что популярность цесаревны в среде гвардейских солдат для преемника Анны была несравненно опаснее популярности между покровскими и александровскими слобожанами, переславскими посадскими и ямскими людьми.

III

Алексей Яковлевич Шубин, прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка, молодой человек, не знатного происхождения⁵, но чрезвычайно красивой наружности, ловкий, проворный, расторопный, решительный и энергический, овладел сердцем Елизаветы Петровны⁶. Она предалась своему чувству со всем пылом молодости, со всем упоением страсти, как говорит предание, предполагала сочетаться с Шубиным браком⁷. Пример тайного брака царевны с подданным был уже подан: родная сестра императрицы Анны Ивановны, царевна Прасковья, была замужем за Иваном Ильичом Дмитриевым-Мамоновым и умерла в 1731 году, не пережив его смерти. Если б избранный сердцем Елизаветы был такой же ничтожный человек, как муж ее двоюродной сестры Прасковьи Ивановны, по всей вероятности, тайный брак ее с Шубиным не встретил бы препятствий со стороны импе-

⁵ До 1600 года дворян Шубиных не было. В 1699 двое Шубиных владели поместьями.

⁶ Манштейн.

⁷ Елизавета Петровна пламенно любила Шубина и выражала чувства свои в стихах, обращенных к нему. Вот одна строфа из них, приведенная г. Бантыш-Каменским в его «Словаре достопамятных людей» (второй выпуск. Спб. 1847, т. III, стр. 550): Я не в своей мочи — огонь утушить. Сердцем болею, да чем пособить? Что всегда различно и без тебя скучно — Легче б ты не знати, не жель так страдати. Всегда по тебе.

ратрицы; но энергический прапорщик казался опасным, он был любим товарищами, имел большое влияние на солдат, через него Елизавета сблизилась с гвардейцами и вступила с ними в такие же отношения, в каких находилась прежде с слобожанами Покровской и Александровской слободы: крестила у них детей, бывала на их свадьбах; солдат-именинник приходил к ней, по старому обычаю, с именинным пирогом и получал от нее подарки и чарку анисовки, которую, как хозяйка, Елизавета и сама выпивала за здоровье именинника. Гвардейские солдаты полюбили доступную цесаревну, стали называть ее «матушкой» и говорили друг другу, по внушению Шубина, что ей, дочери Петра Великого, «не сиротой плакаться», а следовало бы на престоле сидеть. Не дождавшись брачного венца, Шубин был арестован по повелению императрицы Анны, долго томился в оковах, в так называемом «каменном мешке», где нельзя было ни сесть, ни лечь, и наконец отправлен в Камчатку и обвенчан там, против воли, с камчадалкой⁸.

⁸ Вступив на престол, Елизавета Петровна вспомнила о своем любимце, посланном за нее в дальнюю Камчатку. С великим трудом отыскивали его не ранее 1742 года в одном камчадалском селении. Посланный объездил всю Камчатку, спрашивал везде, нет ли где Шубина, но не мог ничего разузнать. Когда его ссылали, то не объявили его имени, а самому ему запрещено было называть себя кому бы то ни было под страхом смертной казни. В одной юрте посланный отыскивать ссыльного спрашивал нескольких бывших тут арестантов, не слыхали ли они чего-нибудь про Шубина; никто не дал положительного ответа. Потом, разговарываясь с арестантами, посланный упомянул имя императрицы Елизаветы Петровны. «Разве Елизавета царствует?» – спросил тогда один из ссыльных. «Да,

После ссылки Шубина пылкая Елизавета Петровна обратила внимание на Разумовского. Алексей Григорьевич Разумовский родился в один год с нею, то есть в 1709 году, в маленьком селе Лемешах⁹ Козелецкого уезда Черниговской губернии; отец его был простой казак Григорий Розум. У Алексея Розума был хороший голос, и он певал на клиросе приходской церкви. Для укомплектования придворной капеллы посылали из Петербурга набирать певчих обыкновенно в Малороссию, где, как известно, несравненно более хороших голосов, чем в Великой России. Полковник Вишнеvский, посланный с таким поручением в царствование Анны

вот уж другой год, как Елизавета Петровна восприяла родительский престол», – отвечал посланный. «Но чем вы удостоверите в истине?» – спросил ссылный. Офицер показал ему подорожную и другие бумаги, в которых было написано имя императрицы Елизаветы. «В таком случае Шубин, которого вы отыскиваете, перед вами», – отвечал арестант. Его привезли в Петербург, где 2 марта 1743 года он был произведен «за невинное претерпение» прямо в генерал-майоры и лейб-гвардии Семеновского полка в майоры и получил Александровскую ленту. Императрица пожаловала ему богатые вотчины, в том числе село Работки на Волге, что в нынешнем Макарьевском уезде Нижегородской губернии. Шубин недолго оставался при дворе. Камчатская ссылка совершенно расстроила его здоровье, он предался набожности, дошедшей до аскетизма, и в 1744 году, уже в чине генерал-поручика, когда особенно сильно было влияние на императрицу Разумовского, просил увольнения от службы. Получив отставку, Шубин поселился в пожалованных ему Работках, где и умер. На прощание императрица Елизавета подарила ему драгоценный образ Спасителя и часть ризы господней. То и другое доселе сохраняется в церкви села Работок. В этом селе передается из поколения в поколение предание об отношениях императрицы Елизаветы Петровны к бывшему тамошнему помещику.

⁹ Село Лемеша, в 10 верстах от Козельца, стоит на болоте и в настоящее время имеет всего 49 дворов с 174 жителями обоего пола.

Ивановны, услышал в Лемешовской церкви Алексея Розума, которому было тогда с небольшим двадцать лет, и взял его в придворные певчие. Во дворце увидела его Елизавета, постаралась перевести его в свой штат и поручила ему надзор за управлением своих поместий. Розум, переименованный в Разумовского, оставался при дворе цесаревны до вступления ее на престол. В тот же день, как Елизавета заняла место несчастного Ивана Антоновича, 25 ноября 1741 года, сделала она своего любимца действительным камергером, вскоре затем обер-егермейстером, а в день коронации своей, 25 апреля 1742 года, пожаловала ему Андреевскую ленту. В 1744 году Разумовский викарием Римской империи, курфирстом саксонским, был возведен в графское Римской империи достоинство, а через два месяца после того Елизавета Петровна возвела его в графы Российской империи. Это было 15 июня 1744 года. В этот день новопожалованный граф и обвенчался с Елизаветой Петровной в Москве в церкви Воскресения в Барашах, что на Покровской улице¹⁰. Затем он был произведен в генерал-фельдмаршалы, хотя никогда не бывал ни в одном походе.

¹⁰ Одни говорят, что брак Елизаветы был совершен 15 июля 1748, а другие относят его к 1750 году. Но принцесса Августа Тараканова, рожденная от этого брака, скончалась 4 февраля 1810 года, 64 лет от роду. Следовательно, она родилась или в январе 1746, или в 1745 году. По этому расчету мы и относим брак Елизаветы к 1744 году.

IV

Разумовский умел хорошо держать себя на той высоте, на которую был возведен. Хотя отношения его к императрице и были известны, но он всячески старался скрывать их, не гордился своим положением, был со всеми приветлив, всем услужлив и тем приобрел искреннюю любовь окружающих Елизавету. Сначала жил он в одном дворце с императрицей, а потом для него был построен особый дворец, известный ныне под названием Аничкова. Богатства Разумовского были несметны, и он умел ими пользоваться. Много добра делал он бедным и несчастным, снабжая их деньгами или ходатайствуя за них пред Елизаветой. Он любил поиграть в банк, и если узнавал, что кто-нибудь нуждается в денежных средствах, приглашал его играть и нарочно проигрывал ему более или менее значительные суммы. Одно в нем было неприятно: любил иногда выпить лишнюю рюмку вина и во хмелю был беспокоен, как говорит в своих «Записках» учитель Павла Петровича, Порошин. Это было, говорят, причиной охлаждения к нему Елизаветы, последовавшего года через четыре после брака. Елизавета Петровна, любившая театральные представления, в то время даваемые в сухопутном кадетском корпусе, однажды приехала туда нечаянно и, придя в театр, увидела на сцене спящего молодого человека, бывшего уже на выпуске. Это был Никита Афанасьевич

Бекетов, к которому, как тогда говорили, «счастье во сне пришло». По окончании спектакля он был пожалован в сержанты, а месяца через три выпущен из корпуса прямо премьер-майором (то есть подполковником) Преображенского полка и назначен генеральс-адъютантом к Разумовскому. Разумовский был совершенно равнодушен к возвышению нового любимца и был с ним в самых приятных отношениях. Но граф Петр Иванович Шувалов, опасаясь возраставшего влияния Бекетова, сблизился с этим неопытным юношей и вкрался в его доверенность. Расхваливая его красоту, особенно же белизну его лица, он советовал для поддержания ее употреблять какое-то притиранье, которое и дал ему. Бекетов поступил по совету Шувалова, и лицо его покрылось сыпью. Жена Шувалова, Мавра Егоровна, урожденная Шепелева, еще с ранней молодости Елизаветы пользовавшаяся особенною ее доверенностью и посвященная во все ее тайны, сказала ей, что Бекетов ведет распутную жизнь и заразился. Его тотчас же отправили в армию, а место его заступил Иван Иванович Шувалов, брат графа Петра Ивановича¹¹. Разумовский и с Шуваловым, и с другими фаворитами находился в столь же приятных отношениях, как и с Бекетовым. Впоследствии, по вступлении на престол Екатерины II, он совершенно отказался от двора и вел жизнь уединенную, выезжая только в церковь.

¹¹ *Бантыш-Каменский*. «Словарь достопамятных людей Русской земли», 1—115. *Вейдемейер*. «Двор и замечательные люди России», 1—3.

Вскоре по вступлении на престол Екатерины II Григорий Григорьевич Орлов, стремившийся занять положение, подобное положению Разумовского, сказал императрице, что брак Елизаветы, о котором пишут иностранцы, действительно был совершен, и у Разумовского есть письменные на то доказательства. На другой день Екатерина велела графу Воронцову написать указ о даровании Разумовскому, как супругу покойной императрицы, титула императорского высочества и проект указа показать Разумовскому, но попросить его, чтоб он предварительно показал бумаги, удостоверяющие в действительности события.

V

«Такое приказание, – рассказывал впоследствии граф С. С. Уваров (в Варшаве за обедом у наместника, князя Паскевича), – Воронцов слушал с величайшим удивлением, на лице его изображалась готовность высказать свое мнение, но Екатерина, как бы не замечая того, подтвердила серьезно приказание и, поклонившись благосклонно, с свойственной ей улыбкой благоволения, вышла, оставя Воронцова в совершенном недоумении. Он, видя, что ему остается только исполнить волю императрицы, поехал к себе, написал проект указа и отправился с ним к Разумовскому, которого застал сидящим в креслах у горящего камина и читающим Священное Писание.

После взаимных приветствий, между разговором, Воронцов объявил Разумовскому истинную причину своего приезда; последний потребовал проект указа, пробежал его глазами, встал тихо с своих кресел, медленно подошел к комоду, на котором стоял ларец черного дерева, окованный серебром и выложенный перламутром, отыскал в комодке ключ, отпер им ларец и из потаенного ящика вынул бумаги, обвитые в розовый атлас, развернул их, атлас спрятал обратно в ящик, а бумаги начал читать с благоговейным вниманием.

Все это он делал, не прерывая молчания. Наконец, прочитав бумаги, поцеловал их, возвел глаза, орошенные слезами,

к образам, перекрестился и, возвратясь с приметным волнением души к камину, у которого оставался граф Воронцов, бросил сверток в огонь, опустил в кресла и, помолчав еще несколько, сказал:

«...Я не был ничем более, как верным рабом ее величества, покойной императрицы Елизаветы Петровны, осыпавшей меня благодеяниями выше заслуг моих. Никогда не забывал я, из какой доли и на какую степень возведен был десницею ее. Обожал ее, как сердолюбивую мать миллионов народа и примерную христианку, и никогда не дерзнул самую мыслию сблизиться с ее царственным величием. Стократ смиряюсь, вспоминая прошедшее, живу в будущем, его же не преждем, в молитвах к вседержителю. Мысленно лобызаю державные руки ныне царствующей монархини, под скипетром коей безмятежно в остальных днях жизни вкушаю дары благодеяний, излианных на меня от престола. Если бы было некогда то, о чем вы говорите со мною, поверьте, граф, что я не имел бы суетности признать случай, помрачающий незабвенную память монархини, моей благодетельницы. Теперь вы видите, что у меня нет никаких документов, доложите обо всем этом всемилостивейшей государыне, да продлит милости свои на меня, старца, не желающего никаких земных почестей. Прощайте, ваше сиятельство! Да останется все происшедшее между нами в тайне! Пусть люди говорят, что им угодно; пусть дерзновенные простирают надежды к мнимым величиям, но мы не должны быть причиной их толков».

От Разумовского Воронцов поехал прямо к государыне и донес ей с подробностью об исполнении порученного ему. Императрица, выслушав, взглянула на Воронцова проницательно, подала руку, которую он поцеловал с чувством преданности, и вымолвила с важностью:

«Мы друг друга понимаем: тайного брака не существовало, хотя бы то для усыпления боязливой совести. Шепот о сем всегда был для меня противен. Почтенный старик предупредил меня, но я ожидала этого от свойственного малороссам самоотвержения»¹².

Как иностранные писатели, так и предания, сохранившиеся в России, единогласно утверждают, что у Елизаветы от брака с Разумовским были дети. Кастера в своей «Histoire de Catherine II» говорит, что детей было трое, из них младшая – княжна Тараканова, родившаяся в 1755 году; старшие же были сыновья, из которых один был жив еще в 1800 году, а другой еще в молодых годах, приготавливаясь к горной службе, учился химии у профессора Лемана и вместе с своим учителем был удушен испарениями какого-то состава, пролившегося из разбитой по неосторожности бутылки. Гельбих, живший долго в России и вообще сообщаящий известия, отличающиеся истиной и подтверждаемые во многом архивными делами, в своей «Russische Cunstlinge» говорит, согласно с русскими преданиями, что детей у Елизаветы Петровны бы-

¹² «Чтения в импер. Общ. Истории и Древн.», 1863 г., книжка 3, статья «Рассказ о браке императрицы Елизаветы Петровны».

ло двое: сын, имевший фамилию Закревского, и дочь Елизавета Тараканова¹³, которую считает дочерью Ивана Ивановича Шувалова, рожденною в 1753 году. Но этот год показан по соображении возраста не настоящей Таракановой, рожденной в 1745 году, а самозванки, которая в 1775 году говорила, что ей двадцать три года. Дюкло в своих «Memoires secrets sur la France» говорит, что дети Елизаветы воспитывались у одной приближенной к императрице итальянки Иоанны и были признаваемы за собственных ее детей. Гельбих также говорит, что Тараканова отвезена итальянкой, своею воспитательницей, в Италию, еще при жизни Елизаветы, и до кончины ее жила там в полном довольстве. Он прибавляет, что отец Таракановой, Иван Иванович Шувалов(?), удалившийся по воцарении Екатерины за границу на целые пятнадцать лет, виделся с Таракановой в Италии, но не открылся ей. Из опубликованных теперь графом В. Н. Паниным сведений оказывается, что действительно Алексей Орлов намеками взводил подозрение на Шувалова в сношениях не с настоящею, но с самозванкой Таракановою (не называя, впрочем, прямо его по имени). Оказалось, однако, что захвачен-

¹³ В статье М. Н. Лонгинова «Княжна Тараканова», помещенной в 24-й книжке «Русского вестника» 1859 года, сказано, что этот Закревский был впоследствии тайным советником и президентом медицинской коллегии и что одна из его дочерей (Прасковья Андреевна, род. 1763, ум. 1816 г.) была замужем за генералом-аншефом графом Павлом Сергеевичем Потемкиным (генерал-губернатор кавказский, умер внезапно 29 марта 1796 года в Москве, во время посещения его известным дельцом тайной полиции Шешковским).

ные нежные письма к псевдо-Таракановой писаны были хотя и похожим на шуваловский почерком, но не им, а сведенным с ума самозванкой владетельным князем Лимбургским.

Между истинною Таракановой и самозванкой, наделавшей много шума в Европе во время пугачевского бунта, общего нет ничего. Вот все, что мы знаем о действительно рожденных Елизаветою Петровною детях от тайного брака с Разумовским.

Их было двое – сын и дочь. О сыне письменных свидетельств никаких не сохранилось. По крайней мере, доселе исследователи старинных архивов ничего не заявляли о нем. Известно только по преданию, что он жил до начала нынешнего столетия в одном из монастырей Переславля-Залесского и горько жаловался на свою участь. Это говорил покойный граф Д. Н. Блудов, которому хорошо были известны подобные тайны¹⁴.

Дочь Елизаветы Петровны носила имя Августы, как свидетельствует портрет ее, находящийся в настоятельских кельях Московского Новоспасского монастыря¹⁵. По свиде-

¹⁴ «Русский архив» 1865 года, книжка 1, статья М. Н. Лонгинова «Заметка о княжне Таракановой», стр. 94.

¹⁵ Копия с этого портрета (в монашеском одеянии) приложена к одному из выпусков «Русских достопамятностей», издаваемых А. А. Мартыновым (выпуск 5-й, «Ивановский монастырь»). Портрет писан на полотне, вышина его – 10¹/₂ ширины – 7¹/₂ вершков, на задней стороне надпись: «Принцесса Августа Тараканова, во иноцех Досифея, постриженная в Московском Ивановском монастыре, где по многих годах праведной жизни своей скончалась 1808 года и погребена в Но-

тельству Г. И. Головиной, которая училась в Ивановском монастыре и через одну монахиню сблизилась с княжной Таракановой, она звала себя по отчеству Матвеевной¹⁶. Отчество это, конечно, вымышленное. Почему она получила фамилию Таракановой, сказать трудно, но во всяком случае не потому, что отец ее, граф Разумовский, родился в слободе Таракановке, как рассказывал покойный граф Д. Н. Блудов¹⁷. Такой слободы нет во всей Черниговской губернии¹⁸. Где воспитывалась принцесса Августа и где она находилась до 1785 года, то есть до сорокалетнего возраста, мы не знаем¹⁹. В этом году она привезена была по именному повеле-

воспаском монастыре». Судя по портрету, принцесса Августа имела сходство с Елизаветою Петровною. В 1867 году этот портрет был выставлен публично в Москве на постоянной художественной выставке.

¹⁶ «Современная летопись» 1865 года, № 13, статья г. Самгина.

¹⁷ «Русский архив» 1865 г., книжка 1, статья М. Н. Лонгинова «Заметка о княжне Таракановой», стр. 94.

¹⁸ «Списки населенных местностей Российской империи», составленные и изданные центральным статистическим комитетом, т. XLXIII.

¹⁹ В статье г. Самгина («Современная летопись» 1865 г. № 13) сказано, что бабушке его, г-же Головиной, инокиня Досифея, в минуту откровенности, взяв с нее предварительно клятву, что она до смерти ее никому не расскажет, что услышит, сказала следующее: «Это было давно: была одна девица, дочь очень, очень знатных родителей, и воспитывалась она далеко за морем, в теплой стороне, образование получила блестящее, жила она в роскоши и почете, окруженная большим штатом прислуги. Один раз у нее были гости и в числе их один русский генерал, очень известный в то время; генерал этот и предложил покататься в шлюпке по взморью; поехали с музыкой, с песнями; а как вышли в море – там стоял наготове русский корабль. Генерал и говорит ей: «Не угодно ли вам посмотреть на устройство корабля?» Она согласилась, взошла на корабль, – а как

нию Екатерины II в Ивановский монастырь, который, по указу императрицы Елизаветы Петровны от 20 июня 1761 года, предназначен был для призрения «вдов и сирот знатных и заслуженных людей». Принцесса Августа была здесь пострижена и получила монашеское имя Досифеи. Во все время двадцатипятилетнего пребывания своего в этом монастыре она жила в одноэтажных каменных кельях, примыкавших к восточной части монастырской ограды близ покоев игуменьи²⁰. Все ее помещение, говорит г. Снегирев²¹, составляли

только взошла, ее уж силой отвели в каюту, заперли и приставили к ней часовых... Через несколько времени нашлись добрые люди, сжалились над несчастною – дали ей свободу и распустили слух, что она утонула... Много было труда ей укрываться... Чтобы как-нибудь не узнали ее, она испортила лицо свое, натирая его луком до того, что оно распухло и разболелось, так что не осталось и следа от ее красоты; одета она была в рубище и питалась милостыней, которую выпрашивала на церковных папертях; наконец, пошла она к одной игуменье, женщине благочестивой, открылась ей, и та из сострадания приютила ее у себя в монастыре, рискуя сама подпасть за это под ответственность». Сделавшиеся ныне известными сведения, извлеченные из архивов, совершенно лишают этот рассказ вероятия. Ясно, что в рассказе г-жи Головиной разумеется не княжна Тараканова, а самозванка, называвшая себя принцессой Владимирской, взятая на Ливорнском рейде графом Алексеем Орловым и умершая в Петропавловской крепости. Трудно допустить, чтобы Досифея рассказывала о себе так, как передано это г. Самгиным.

²⁰ Сгоревший во время нашествия Наполеона Ивановский монастырь был после того упразднен, церковь обращена в приходскую, а в кельях помещались чиновники и рабочие Синодальной типографии. По ходатайству высокопреосвященного Филарета, митрополита Московского, в 1859 году государь император разрешил восстановить Ивановский монастырь. Некоторые старые здания при этом случае были сломаны, в том числе и кельи, где жила Тараканова.

²¹ «Русские достопамятности», изд. А. А. Мартыновым, V, 15.

две уютные комнаты под сводами и прихожая для келейницы; их нагревала изразчатая печь с лежанкой; окна были обращены на монастырь. На содержание ее отпускалась игуменье из казначейства особенная сумма, и Досифея, никогда не бывая в общей трапезе, имела особый стол, обильный и изысканный. Иногда на ее имя присылаемы были к игуменье значительные суммы от неизвестных лиц; эти деньги Досифея употребляла преимущественно на украшение монастырских церквей, на пособия бедным и раздавала нищим. Кроме игуменьи, духовника, причетника и московского купца Филиппа Никифоровича Шепелева²², торговавшего чаем и сахаром на Варварке, Досифея ни с кем не видалась. Г-жа Головина рассказывала, что по смерти Екатерины II Досифею стали посещать некоторые известные лица; так, например, митрополит Платон приезжал поздравлять ее по большим праздникам, и даже одно лицо из императорской фамилии посетило ее келью и долго беседовало с затворницей. Несмотря на то, Досифея до самой смерти не была спокойна и при всяком шорохе, при каждом стуке в дверь бледнела и тряслась всем телом. У нее был портрет императрицы Елизаветы Петровны и какие-то бумаги, которые она после долгого колебания – сожгла²³. В церковь она ходила очень редко и то в сопровождении приставленной к ней монахи-

²² Не родственник ли Мавре Егоровне Шепелевой, наперснице императрицы Елизаветы Петровны?

²³ «Современная летопись» 1865 г. № 13.

ни. Коридор и крытая деревянная лестница от ее келий вели прямо в церковь, устроенную под святыми воротами. Там духовник с причетниками совершал богослужение для нее одной, и в это время церковные двери запирались, чтобы не мог зайти кто-либо из посторонних и увидеть таинственную монахиню. К окнам ее келий, всегда задернутым занавесками, иногда подходили любопытные, но монастырский служитель тотчас отгонял их. Рассказывают, будто граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, доживавший свой век в Москве, никогда не ездил мимо Ивановского монастыря, и если нужно было ехать мимо, всегда делал крюк. Может быть, он и сам не знал о судьбе взятой им в Ливорне обманом самозванки Таракановой и думал, что таинственная заточенница Ивановского монастыря и красавица, называвшаяся в Италии дочерью императрицы Елизаветы, одно и то же лицо. Все время своего пребывания в Ивановском монастыре Досифея посвящала молитве, чтению душеспасительных книг и рукоделию; вырученные от работ деньги раздавала нищим через свою келейницу. Последние годы она провела в безмолвии и считалась праведною. Она была среднего роста, худощава и чрезвычайно стройна; несмотря на долговременное заключение и старость, она сохраняла на лице остатки редкой красоты. Судя по портрету, она была похожа на Елизавету Петровну. Старый причетник, недавно умерший, сказывал (по словам г. Снегирева), что он видал каких-то важных особ, допущенных игуменьей к Досифее; с ними гово-

рила она на иностранном языке. Имени ее в клировых монастырских ведомостях нет.

Досифея скончалась 64 лет от роду 4 февраля 1810 года, как сказано в надписи на надгробном ее памятнике, или в 1808 году, как сказано на обороте ее портрета. Первое указание вернее. Когда Досифея умерла, на пышные ее похороны явился в полном мундире и в Андреевской ленте тогдашний главнокомандующий Москвы граф Иван Васильевич Гудович, женатый на графине Прасковье Кирилловне Разумовской, которая приходилась двоюродною сестрой усопшей. Сенаторы, члены опекунского совета и доживавшие свой век в Москве вельможи старого времени явились на похороны также в мундирах. За болезнью престарелого митрополита Платона отпевал Досифею vikарий его, дмитровский епископ Августин, в сослужении с старшим московским духовенством. Стечение народа на похоронах было необыкновенное. Досифею похоронили не в том монастыре, где она жила, и не на общем кладбище, а в монастыре Новоспасском, в усыпальнице рода бояр Романовых, где в XVII столетии погребались родственники царственного дома. Ее могила находится у восточной ограды, по левую сторону монастырской колокольни, под № 122. На диком надгробном ее камне находится следующая надпись: «Под сим камнем положено тело усопшей о Господе монахини Досифеи, обители Ивановского монастыря, подвизавшейся о Христе Иисусе в монашестве двадцать пять лет, а скончавшейся февраля 4-

го 1810 года. Всего ее жития было шестьдесят четыре года. Боже, всели ее в вечных Твоих обителях!»

Монахиня Досифея, как рассказывают, была кроткого нрава и безропотно подчинялась своей участи. Говорят, она имела свидание с Екатериной и беспрекословно согласилась удалиться от света в таинственное уединение, чтобы не сделаться орудием в руках честолюбцев и не быть невинною виновницей государственных потрясений. Между ею и самозванкой, что была орудием поляков и кончила многомятежную жизнь в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, как уже сказали мы выше, общего нет ничего.

Сказав все, что известно доселе об истинной Таракановой, обращаемся к ловкой авантюристке, называвшейся дочерью императрицы Елизаветы и сделавшейся орудием в руках пресловутого князя Карла Радзивила.

VI

Когда, по воле Екатерины II, Станислав Понятовский вступил на древний престол Пястов, враждебная нам в Польше и поддерживаемая Францией партия, во главе которой стоял коронный великий гетман граф Браницкий, обратилась с просьбой о помощи к Версальскому кабинету. Герцог Шуазель, первый министр Людовика XV, заботясь о восстановлении прежнего влияния Франции на дела северных государств, рад был такому обстоятельству и не замедлил им воспользоваться.

Образовалась Барская конфедерация, враждебная королю Станиславу и поддерживавшей его России. Франция посылала конфедератам довольно значительные денежные пособия и, кроме того, искусных офицеров для распоряжений военными действиями, а чтобы отклонить Екатерину II от вооруженного вмешательства в дела Польши, склонила султана Мустафу III объявить России войну. Война началась, но для турок была несчастна. Победы Румянцева при Ларге и Кагуле, истребление графом Орловым турецкого флота при Чесме, блистательные действия князя Репнина, овладевшего Измаилом, Килеєю и Аккерманом, занятие русскими войсками Молдавии, Валахии и Крыма сильно потрясли Порту: подвластные ей славяне, греки и закавказские христиане восстали, чтобы, пользуясь удобным случаем, свергнуть ту-

рецкое иго; египетский паша Али-бей также поднял оружие против султана. Между тем кровопролитные междоусобия в Польше продолжались и совершенно ее обессилили. Барские конфедераты несколько раз были разбиты русскими, и будущий известный французский генерал Дюмурье, присланный на помощь противникам Станислава Понятовского, пораженный Суворовым, ушел из Польши. Австрия с беспокойством взирала на торжество русских, особенно на занятие ими Молдавии и Валахии. Опасаясь за нарушение европейского равновесия, она предложила прусскому королю вооруженное посредничество для примирения России с Турцией. Фридрих II согласился, тем более что и сам неравнодушно смотрел на успехи Екатерины. Императрица сама была не прочь от мира, но потребовала от султана независимости крымских татар, свободного плавания русским кораблям по Черному морю и Архипелагу и присоединения к России Молдавии с Валахией. Это встревожило Австрию; заключив с султаном оборонительный союз, она собрала многочисленную армию для действия против России; война готова была вспыхнуть, но Фридрих II нашел средство отклонить ее. Зная, что Венский кабинет с особенною тревогой смотрит на намерение Екатерины приобрести Молдавию с Валахией, король предложил вознаградить Россию частию польских областей, причем как Австрии, так и самому миротворцу отмежевать из наследия Ягеллонов приличные части. Австрия согласилась, и летом 1772 года последовал «первый раздел

Польши». В то же время открылись мирные переговоры России с Турцией в Фокшанах.

Магнаты и шляхта, составлявшие единственную причину всех злоключений Польского государства, были поражены этой вестью. Не наученные опытом, вздумали они продолжать борьбу с Екатериной II, которую считали единственной виновницей ослабления их отечества. Со множеством подручной шляхты некоторые из магнатов отправились в Западную Европу возбуждать против России тамошние правительства. Но в одной только Франции они имели некоторый успех: польская эмиграция свила в Париже теплое для себя гнездо, существующее, как известно, и в настоящую пору. Потомок русского великого князя Рюрика²⁴ Михаил Казимир Огинский, напольный гетман литовский, посланный Станиславом Понятовским в качестве посланника к Людовiku XV с протестом против намерения трех соседних держав отнять у Польши значительные области, жил в Париже, напрасно вымаливал у Шуазеля деятельной помощи против Екатерины и просил о поддержке султана. Как официальному лицу, королевскому посланнику, Огинскому не приходилось быть в близких и прямых сношениях с противниками

²⁴ Огинские, вместе с князьями Одоевскими, Горчаковыми, Оболенскими, Долгоруковыми, Щербатовыми, Барятинскими, Четвертинскими и Святополк-Мирскими, происходят от князей Черниговских. Сделавшись подданными литовских великих князей, они перестали писаться князьями. До второй половины XVII столетия оставались русскими и православными, а с этого времени приняли католицизм и ополячились.

своего государя – конфедератами, но в тайных сношениях с ними он находился ради одной цели – вреда России. Богатейшим из эмигрантов был князь Радзивил, живший преимущественно в Прирейнском крае и приезжавший иногда в Париж. С ним посол Станислава Понятовского находился в тайных сношениях.

Между тем на востоке России в 1771 году возник так называемый «Яикский бунт». Яикские (ныне уральские) казаки, недовольные нововведениями в их внутреннем управлении, восстали открыто, но были усмирены вооруженной силой. Возмущение было подавлено, но недовольство казаков еще более усилилось. Они представляли самую удобную почву для внутренних замешательств, которые могли грозить серьезною опасностью государству. Замешательства не замедлили обнаружиться: летом 1773 года явился Пугачев.

Пугачевский бунт – явление доселе еще не разъясненное вполне и со всех сторон. Дело о пугачевском бунте, которого не показали Пушкину, до сих пор запечатано, и никто еще из исследователей русской истории вполне им не пользовался²⁵. Пугачевский бунт был не просто мужицкий бунт, и руководителями его были не донской казак Зимовейской станицы с его пьяными и кровожадными сообщниками. Мы не знаем, насколько в этом деле принимали участия поляки, но не

²⁵ Некоторые части дела о Пугачеве, по ходатайству графа Перовского, были открыты покойному Надеждину, когда он писал свои «Исследования о скопческой ереси», начальник которой, Кондратий Селиванов, современник Пугачева, также называл себя императором Петром III.

можем и отрицать, чтоб они были совершенно непричастны этому делу. В шайках Пугачева было несколько людей, подвизавшихся до того в Барской конфедерации.

Враждебники России и Екатерины, кто бы они ни были, устроив дела самозванца на востоке России, не замедлили поставить и самозванку, которая, по замыслам их, должна была одновременно с Пугачевым явиться среди русских войск, действовавших против турок, и возмутить их против императрицы Екатерины. Это дело – бесспорно польское дело. Князю Радзивилу, или, вернее сказать, его приближенным, ибо у самого «пане коханку» едва ли бы достало на то смысла, пришла затейная мысль: выпустить из Западной Европы на Екатерину еще самозваного претендента на русский престол. Но под чьим же именем его выпустить на свет? Под именем Петра III уже явился Пугачев, и, кроме его, в восточной части России уже прежде того являлось несколько Петров. Императора Ивана Антоновича, незадолго перед тем убитого в Шлиссельбурге, выставить было нельзя, ибо всем было известно, что этот несчастный государь, в одиночном с самого младенчества заключении, сделался совершенным идиотом, неспособным ни к какой деятельности; притом же история покушения Мировича и гибели Ивана Антоновича была хорошо всем известна и свежа в памяти. Оставались дети Елизаветы Петровны. Правда, они никогда не были объявлены, но об их существовании знали, хотя и не знали, где они находятся. Тайнственность, которую были

окружены Таракановы, неизвестность об их участии и местопребывании немало способствовали успеху задумавших выставить на политическую арену нового претендента на престол, занимаемый Екатериной.

По известию, сообщаемому Кастерой²⁶, князь Карл Радзивил, палатин виленский, еще в 1767 году взял на свое попечение дочь Елизаветы Петровны, то есть отыскал где-то девочку, способную разыграть роль самозванки. В самом начале Барской конфедерации Радзивил удалился за границу. Трудно определить, кто именно была эта девочка. Одни считали ее дочерью султана, другие приписывали ей знатное польское происхождение, третьи полагали, что родители ее неизвестны, но что она должна была в Петербурге выйти замуж за внука принца Георга Голштинского. Впоследствии, когда она была уже привезена в Петропавловскую крепость и фельдмаршалом князем Голицыным производилось о ней следствие, английский посланник сказывал в Москве Екатерине, что она родом из Праги, дочь тамошнего трактирщика, а консул английский в Ливорно, сэр Дик, помогший графу Орлову-Чесменскому взять самозванку, уверял, что она дочь нюрнбергского булочника. Трудно теперь решить, которое из этих указаний более справедливо и согласно ли которое-нибудь с истиной, но, принимая в соображение замечательное образование загадочной женщины, ее ловкость в политической интриге, ее короткое знакомство с дипломатиче-

²⁶ «Histoire de Catherine II», том II, стр. 80.

скими тайнами кабинетов, ее умение держать себя не только в среде лиц высокопоставленных, но даже в кругу владельцев немецких государей, трудно поверить, чтоб она воспитывалась в трактире или булочной. Нельзя не согласиться с составителем «Записки», напечатанной в «Чтениях»: «едва ли удастся когда-либо открыть, кто и откуда была самозванка, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны». Но кто бы ни была эта загадочная женщина, она была созданием польской партии, враждебной королю Понятовскому, а тем более еще императрице Екатерине.

Поляки – большие мастера готовить самозванцев; при этом они умеют так искусно хоронить концы, что ни современники, ни потомство не в состоянии сказать решительное слово об их происхождении. Более двух с половиной веков тому назад впустили они в Россию Лжедмитрия и даже не одного, но до сих пор никто из историков не может с положительною уверенностью сказать: кто такой был самозванец, известный у нас под именем Гришки Отрепьева, и кто был преемник его, вор Тушинский. То же самое и в деле самозванки – дочери Елизаветы Петровны. Но как несомненно участие отцов иезуитов в подготовке Лжедмитрия, так вероятно и участие их в подготовке самозванки, подставленной князем Радзивилом. Самому Карлу Радзивилу, без помощи столь искусных пособников, едва ли бы удалось выдумать «принцессу Владимирскую». Этот человек, обладавший несметными богатствами, отличавшийся свои-

ми эксцентричными выходками, гордый, тщеславный, идол кормившейся вокруг него шляхты, был очень недалек. Его ума не хватило бы на подготовку самозванки, если бы не помогли ему люди, более на то искусные. Он только сыпал деньгами, пока они у него были, и разыгрывал в Венеции и Рагузе перед публикой комедии, обращаясь с подставною принцессой как с действительною дочерью императрицы всероссийской.

Кто бы ни была девушка, выпущенная Радзивилом на политическую сцену, но, рассматривая все ее действия, читая переписку ее и показания, данные фельдмаршалу князю Голицыну в Петропавловской крепости, невольно приходишь к заключению, что не сама она вздумала сделаться самозванкой, но была вовлечена в обман и сама отчасти верила в загадочное свое происхождение. Поляки так искусно сумели опутать молоденькую девочку сетью лжи и обмана, что впоследствии она сама не могла отдать себе отчета в том, кто она такая. На краю могилы, желая примириться с совестью, призвав духовника, она сказала ему, что о месте своего рождения и о родителях она ничего не знает.

«Я помню только, – говорила она в последнем своем предсмертном показании князю Голицыну, – что старая нянька моя, Катерина, уверяла меня, что о происхождении моем знают учитель арифметики Шмидт и маршал лорд Кейт, брат которого прежде находился в русской службе и воевал против турок. Этого Кейта я видела только однажды, мельком,

проездом через Швейцарию, куда меня в детстве возили на короткое время из Киля. От него я получила тогда и паспорт на обратный путь. Я помню, что Кейт держал у себя турчанку, присланную ему братом из Очакова или с Кавказа. Эта турчанка воспитывала несколько маленьких девочек, вместе с нею плененных, которые жили при ней еще в то время, когда, по смерти Кейта, я видела ее проездом через Берлин. Хотя я наверное знаю, что я не из числа этих девочек, но легко может быть, что я родилась в Черкесии». Кроме того, она объяснила, что еще в детстве жила в Киле, что из тамошних жителей помнит какого-то барона фон-Штерна и его жену, данцигского купца Шумана, платившего в Киле за ее содержание, и наконец учившего ее арифметике Шмидта. «Меня постоянно держали в неизвестности о том, кто были мои родители, – говорила она перед смертью князю Голицыну, – да и сама я мало заботилась о том, чтоб узнать, чья я дочь, потому что не ожидала от того никакой себе пользы».

Из бумаг, находившихся при ней в Ливорно и взятых графом Орловым-Чесменским, видно, что после Киля жила она в Берлине, потом в Генте и наконец в Лондоне; что сначала она известна была под именем девицы Франк, потом девицы Шель, потом г-жи Тремуйль.

Получив, как видно, хорошее воспитание, она знала языки французский и немецкий, говорила несколько по-итальянски и по-английски; по-русски и по-польски не знала.

Обладая редкою красотой²⁷, она была умна, всегда весела, любезна, кокетлива и владела необыкновенною способностью сводить с ума каждого мужчину и делать его покорным своим поклонником. И в самом деле, в продолжение трех-четырех лет ее походов по Европе, одни, очарованные красотой ее, входят из угождения красавице в неоплатные долги и попадают за то в тюрьму, другие, принадлежа к хорошим фамилиям, поступают к ней в услужение; сорокалетний князь Римской империи хочет на ней жениться, вопреки всем политическим расчетам, и хотя узнает об ее неверности, однако же намеревается бросить германские свои владения и бежать с прекрасною очаровательницей в Персию. Она любила хорошо пожить, любила роскошь, удовольствия и не отличалась строгостью нравов. Увлекая в свои сети и молодых и пожилых людей, красавица не отвечала им суровостью; она даже имела в одно время по несколько любовников, которых, по-видимому, не очень печалила ветреность их подруги.

²⁷ Она косила на один глаз, но этот недостаток не уменьшал ее замечательной красоты.

VII

Что делала девица Франк в Берлине – неизвестно. Известно только, что здесь случилась с ней какая-то неприятная история, заставившая ее уехать в Гент и даже переменить имя. В Генте жила она под именем девицы Шель и познакомилась с сыном голландского купца Вантурсом (van Toers). Вантурс влюбился в нее, и девица Шель отвечала ему взаимностью. На роскошную жизнь ее не доставало денег, получаемых из таинственного источника, от имени какого-то персидского дяди (по всей вероятности, это были польские или иезуитские деньги). Влюбившийся Вантурс, пользуясь кредитом во многих торговых домах Гента, набрал значительные суммы, а прекрасная подруга его безрасчетно их истратила. Дело кончилось тем, что кредиторы подали векселя на Вантурса ко взысканию, и ему стали грозить банкротство и тюрьма. Бросив жену и кредиторов, Вантурс бежал с своею возлюбленной в Лондон. Здесь она явилась под именем г-жи Тремуиль. Это было в 1771 году. В Лондоне г-жа Тремуиль жила по обыкновению роскошно, а Вантурс должен был искать новых кредиторов, делать новые долги для удовлетворения безграничных прихотей своей очаровательницы. Пока еще не узнали об его гентских долгах и о побеге от кредиторов, лондонские капиталисты снабжали его деньгами. Но когда до лондонского торгового круга дошли слухи о поступке

Вантурса, ему перестали верить и хотели начать против него преследование. Узнав об этом, Вантурс немедленно оставил Лондон и весной 1772 года бежал в Париж, где явился под вымышленным именем барона Эмбса. Положение оставленной им подруги было крайне неприятно, но она скоро нашла случай утешиться. Влюбился в нее некто, называвшийся бароном Шенком. Она сблизилась с ним и еще целые три месяца после побега Вантурса прожила в Лондоне с прежнею роскошью на деньги, добываемые новым любовником. Через три месяца и Шенку стали грозить кредиторы, но он заблаговременно успел с своею подругой уехать в Париж.

В Париже в это время, как мы уже сказали, жил посланник польского короля, Михаил Казимир Огинский, хлопотавший вокруг короля Людовика XV о деятельной помощи Франции в пользу Барских конфедератов и о подкреплении султана, доведенного победами екатерининских полководцев до крайности. Тогда же на некоторое время приезжал в столицу Франции и князь Радзивил. В то самое время, как Огинский получил известие, что в Петербурге раздел Польши решен, а в Фокшаны послан граф Григорий Орлов для ведения с турками мирных переговоров, в Париже явилась г-жа Тремуйль, сопровождаемая бароном Шенком. К ней присоединился и Вантурс, или, как теперь называли его, барон Эмбс. По приезде в Париж г-жа Тремуйль имела свидание с Огинским. Что они говорили между собой, не знаем, но известно, что женщина, жившая в разных городах Европы

под разными именами и выдававшая себя то за немку, то за француженку, теперь, в Париже, стала выдавать себя за русскую и сделалась известною под именем «принцессы Владимирской» (*princesse de Volodimir*). Но за дочь императрицы Елизаветы Петровны она в это время себя еще не выдавала. Звали ее обыкновенно Алиною или Али-Эмете и признавали за единственную отрасль знаменитого происхождением и богатствами какого-то русского рода князей Владимирских. Лишившись в младенчестве родителей, которых никогда не знала, она будто бы была воспитана своим дядей в Персии и, достигнув совершеннолетия, приехала в Европу отыскивать свое наследство, находящееся в России. Ее персидский дядя обладает несметными сокровищами, и эти сокровища к ней же должны перейти по наследству. Так рассказывала про себя принцесса в Париже. Нелепость этой сказки, имеющей следы польского происхождения, была бы очевидна для всякого русского, знающего, что никаких князей Владимирских с XIV столетия не бывало, но во Франции, где об России, ее истории и внутренней жизни знали не больше, как о каком-нибудь персидском или другом азиатском государстве, слухи о Владимирской принцессе не могли казаться нелепыми, особенно если их поддерживали если не сам польский посланник, Михаил Огинский, то такие польские знаменитости, как, например, княгиня Сангушко. Кому же, по мнению парижского общества, как не ближайшим соседям России, полякам, лучше и знать о тамошних обстоятельствах?

VIII

Беззаботно и весело, утопая в блеске и роскоши, Али-Эмете провела в Париже зиму 1772 года. Присылались ли к ней в это время мнимоперсидские деньги, не знаем, но, в надежде на азиатские ее сокровища, парижские капиталисты вверили ей значительные суммы. Самыми ближними к ней людьми были в это время бароны Шенк и Эмбс; через них-то она и доставала деньги; они занимали их или на свое имя, или за своим поручительством. Эти бароны познакомились с богатым купцом Понсе и еще с каким-то Макке, которые и доставляли им деньги на житье в Париже принцессы Владимирской. Она жила открыто, пользовалась всеми удовольствиями Парижа, свела знакомства с разными лицами тамошнего высшего общества и заставила о себе говорить, чего, как известно, не легко достигнуть в столице роскоши и моды. В числе новых знакомых принцессы Алины был некто маркиз де-Марин, тип старого развратника, столь обыкновенный при дворе Людовика XV. Он до того был очарован прелестями и быстрым, увлекательным умом Алины, что пожертвовал для нее и своими связями, и состоянием, и положением при Версальском дворе и в обществе. Он сделался таким покорным рабом ее, что, не задумавшись, покинул Францию, чтобы в ничтожном немецком городишке исправлять должность ее интенданта. Трудно поверить, чтобы

де-Марин не искренно верил в действительность происхождения этой женщины от Владимирских государей и в существование персидских ее богатств, иначе вряд ли он дошел бы до такого унижения. Правда, Алина отвечала на любовь старого селадона, но ему ли, имевшему столь много успехов у дам высшего французского общества, можно было жертвовать всем своим положением ради прелестей какой-то искальницы приключений, если б он знал, что она происходит не из московитского рода Владимирских князей, а из пражского трактира или нюрнбергской булочной? И не один де-Марин был в таком положении. Принадлежавший к одной из знаменитейших фамилий Франции, граф Рошфорде-Валькур, гофмаршал владетельного князя Лимбурга (из фамилии Линанж), находившийся тогда в Париже по делам своего государя, познакомившись с Алиной, до того прельстился ею, что просил руки ее. Алина приняла предложение графа; брак был назначен в Германии тотчас по получении женихом согласия от своего государя, но, чтобы не томить жениха долгим ожиданием, прекрасная принцесса вступила с ним в супружеские отношения. Наконец сам Михаил Огинский не мог устоять пред красотой очаровательной принцессы, она и его запутала в свои сети²⁸.

²⁸ В мае 1774 года, когда граф Огинский уже расстался с своею очаровательницей, он писал к ней письмо, из которого можно заключать о свойстве их отношений в Париже. «*Quoiqu'a peine je puis me remuer encore, j'aurais, pourtant fait l'impossible pour vous voir, sans l'accident nouveau de la maladie du roi (французского) il m'await bien doux de vous embrasser. Combien de fois ne sedit-on pas par*

Таким образом, в веселом обществе пяти любовников, и в том числе одного жениха, Алина Владимирская проводила дни свои в Париже. Мотовству ее не было границ, а персидский дядя денег не присылал. В начале 1773 года средства красавицы истощились, Вантурс, или барон Эмбс, попал в тюрьму за долги, барону Шенку грозила такая же участь от кредиторов. Алина попросила займы у Огинского, но официальное положение его как польского посланника при французском короле не позволило ему исполнить желание обворожившей его женщины. Он, под разными предлогами, отказал ей. Ничего больше не оставалось Алине, как еще раз, в четвертый раз, бежать от заимодавцев.

Де-Марин поручился за мнимого барона Эмбса, и Вантурс был выпущен из тюрьмы. Вместе с ним, с де-Марином и с бароном Шенком принцесса переехала в одну из деревень в окрестностях Парижа. Странный переезд на дачу задолго до наступления весны, кажется, не обратил на себя ничьего особенного внимания, но парижские кредиторы немало были изумлены, когда узнали, что прекрасная Алина с сво-

jour qu'on ne fait jamais ce que l'on desire avec le plus grand empressement; il suffit de desirer quelque bien avec ardeur, pour qu'il n'arrive pas». (Хотя я едва могу двигаться, я сделал бы все возможное, чтобы свидеться с вами, чтобы нежно обнять вас, если бы не новый приступ болезни короля. Сколько раз на дню говоришь себе: то, чего страстно желаешь, никогда не исполняется; достаточно горячо пожелать чего-нибудь хорошего, чтобы оно не сбылось». – *Пер. ред.*). Многочисленные записки Огинского к самозванке, говорит составитель «Записки», напечатанной в «Чтениях», исполнены любезности и живого участия и даже не лишены некоторого доверия к ее рассказам о баснословном богатстве персидского дяди.

ими друзьями внезапно скрылась из окрестностей Парижа и очутилась во Франкфурте-на-Майне. Неожиданный отъезд ее поразил и Огинского, хотя она и уверяла его, что важные дела требуют немедленно отъезда ее в Германию²⁹.

Франкфурт встретил принцессу Владимирскую не совсем гостеприимно. Парижские кредиторы не дремали. Как скоро Алина с друзьями своими поселилась в одной из тамошних гостиниц, заимодавец Макке явился там же. Он представил франкфуртскому магистрату долговые обязательства барона Эмбса, и Вантурс опять попал в тюрьму, причем даже было употреблено насилие. Вслед за тем, по жалобе другого кредитора, Понсе, франкфуртский магистрат хотел арестовать и де-Марина. Хозяин гостиницы, в которой остановилась принцесса с своими спутниками, во избежание дальнейших скандалов, выгнал из дому приезжих. Алина требовала от магистрата удовлетворения, грозила вмешательством в это дело России и показывала черновые письма свои к русским посланникам при венском и берлинском дворах. Но магистрат не испугался. Вантурс остался в тюрьме, и положение принцессы Владимирской сделалось крайне затруднительным; на счастье ее, во Франкфурт приехал в это время

²⁹ На прощанье Алина выпросила у литовского напольного гетмана, имевшего право производить в офицерские чины служивших в литовском войске, бланковый патент на капитанский чин, не говоря, кому она его предназначает. Алина вписала в патент имя барона Эмбса, и с этого времени Вантурс, гентский беглец, не имевший дотоле паспорта и никакого удостоверения в подлинности принятого им на себя звания, сделался литовским капитаном, бароном Эмбсом.

владельческий князь Лимбургский в сопровождении жениха ее, графа Рошфор-де-Валькура.

Филипп-Фердинанд, владельческий граф Лимбургский, Стирумский, Оберштейнский и проч., князь Священной Римской империи, претендент на герцогство Шлезвиг-Гольштейнское, незадолго перед тем наследовал престол по смерти старшего брата. Он был уже пожилой холостяк – 42 лет от роду. Человек был образованный, как и подобало имперскому князю, но до крайности слабодушный. Был страшный поклонник женской красоты и легко отдавался под безграничное влияние любимой особы. Жил князь Лимбург, как и все мелкие имперские князья того времени: имел свой двор с гофмаршалом, гофмейстером, камергерами, егермейстерами и прочими придворными чинами, имел свое миниатюрное войско, держал своих поверенных при венском и версальском дворах с громким названием «посланников», имел свои ордена, которые раздавал щедро, ибо пошлины за пожалование ими составляли не последнюю статью в бюджете его доходов, бил свою монету, словом, пользовался всеми правами и преимуществами коронованных особ. В описываемое время князь Лимбург вел тяжбу с прусским королем Фридрихом II за нарушение последним каких-то державных прав его, вел переговоры с курфюрстом Трирским о выкупе прав на Оберштейнское графство, находившееся у них в совместном владении, и объявил себя соперником великого князя Павла Петровича, оспаривая наследственные права

его на Голштейн. Хотя эти владения и не принадлежали князю Лимбургу, тем не менее он титуловался герцогом Шлезвиг-Голштейннским или князем Голштейн-Лимбург.

С своим гофмаршалом, графом Рошфор-де-Валькуром, прибыл этот имперский князь во Франкфурт, где у него велась тяжба с курфирстом Бранденбургским, Фридрихом II. Граф Рошфор, узнав, что невеста его во Франкфурте, немедленно отыскал ее и напомнил о данном слове. Прекрасная Алина обрадовалась жениху, явившемуся как нельзя более кстати, и решила отдать ему руку хоть сейчас же. Счастливый граф просил у своего государя дозволения вступить в брак с принцессой Владимирской и поместить ее в одном из замков князя, чтоб укрыть от преследования заимодавцев, не дававших ей покоя. При этом граф Рошфор рассказал о странной судьбе своей невесты, об ее персидском дяде и о громадных сокровищах, принадлежащих ей в Азии. Все это чрезвычайно заинтересовало князя Лимбурга, и он не только разрешил своему гофмаршалу жениться на ней, но даже просил представить его принцессе. С восторгом приняла Алина желание имперского князя и с первого же свидания до того успела обворожить его красотой, умом и кокетливою любезностью, что Лимбург тут же предложил устроить денежные дела ее во Франкфурте. Несмотря на предостережения банкира Алленца, не советовавшего князю бросать деньги на ветер, он немедленно снабдил прекрасную принцессу значительною суммой денег на уплату франкфуртских

долгов и предложил скорей переселиться в его владения, где она будет совершенно безопасна от всевозможных неприятностей и проживет в довольстве и роскоши столько времени, сколько ей заблагорассудится. Алина не заставила долго просить себя и тотчас же приняла любезное предложение по уши влюбившегося в нее князя Лимбурга. Угодливостям его не было конца: тотчас же написал он посланнику своему в Париже де-Буру, чтобы тот уладил как-нибудь дела принцессы с кредиторами. Де-Бур уговорил Понсе на отсрочку уплаты денег, а другому кредитору, Макке, князь пожаловал орден, за что и тот согласился на отсрочку.

Алина совершенно завлекла в свои сети простодушного князя Лимбургского. Во Франкфурте он сделался ежедневным ее гостем, выезжал только с нею и был почти от нее неотлучен. Графу Рошфору, конечно, не нравилось, что его повелитель отбивает у него невесту, он стал немножко ревновать, но Алина переменяла свое обхождение с ним, сделалась холодна, показывала жениху видимое равнодушие и в начале июня 1773 года уехала с князем Филиппом в принадлежавший ему замок Нейсес, находившийся во Франконии. Дорогой она отдалась ему. Граф Рошфор-де-Валькур не хотел, кажется, уступать своих прав на очаровательную принцессу, но, спустя несколько дней по прибытии любящейся четы в Нейсес, был заключен своим соперником в тюрьму как государственный преступник и содержался в ней несколько месяцев, до тех пор пока Алина не оставила и князя Лимбурга,

и Германию.

IX

В Нейсесе Алина начала прежнюю роскошную и блестящую жизнь, которую, к крайней досаде, принуждена была оставить во Франкфурте. Все доходы влюбленного князя были к ее услугам. Здесь она стала называться султаншей – *la sultane Aline*, а также Элеонорой. Это обстоятельство послужило, вероятно, поводом к возникшим впоследствии толкам, будто она дочь турецкого султана. Звали ее также «принцессой Азовской». В это время она учредила даже свой орден азиатского креста, может быть, с целью также, как и пламенный ее обожатель, иметь посредством раздачи его новую статью дохода³⁰. Алина в Нейсесе устроила и свой двор. Одного из бывших своих любовников, де-Марина, назначила интендантом этого двора, выжидая первого благоприятного случая, чтобы удалить его из владений нового своего обожателя. Другого покинутого друга, барона Шенка, Алина назначила своим поверенным во Франкфурте, а Вантурса не позаботилась выручить из франкфуртской тюрьмы. Отдалив таким образом от себя прежних фа-

³⁰ В 1858 году, по случаю известного дела о торговле орденами, в Париже были между прочим конфискованы дипломы на орден азиатского креста. Он назывался «*La croix de l'ordre Asiatique, fondee par la Sultane Aline*». Тогда же были конфискованы дипломы и на орден князя Лимбургского: орден Голштейн-Лимбургского Льва и соединенные орден четырех императоров и древнего дворянства. *In dependence Beige*», 1858, octobre 9.

воритов, принцесса или султанша поставила себя в такое положение, что обвороженному ее прелестями князю Лимбургу, на первое, по крайней мере, время, вовсе были неизвестны похождения ее в Генте, Лондоне и Париже, и ничто не могло навести его на мысль, что обворожительная султанша, несмотря на свою молодость, уже несколько раз переходила из объятий одного обожателя в объятия другого.

В Нейсесе влюбленный князь с очаровательною султаншею прожили около месяца, предаваясь удовольствиям взаимной пламенной любви. Время летело незаметно для удивившихся беззаботных любовников.

Шутя называли они себя Телемаком и нимфою Калипсо, хотя имя юного сына Улисса и не совсем шло сорокадвухлетнему князю Лимбургу. Недоставало в Нейсесе Ментора, но и он не замедлил явиться, если не в лице богини Минервы, то в лице барона фон-Горнштейна, служившего конференц-министром у Трирского курфюрста. Горнштейн приехал в Нейсес по приглашению князя, находившегося с ним в самых коротких, дружеских отношениях. Алина была так прелестна, так привлекательна, что не было мужчины, который бы, узнав ее, не влюбился и не сделался ее поклонником. Фон-Горнштейн не избег общей участи. С первого же свидания с Алиной он был очарован ею и, кажется, хотел сделаться соперником своего друга, по крайней мере, стал делать ей подарки, присылать ноты, но Алина, имея уже особые виды на ослепленного князя Лимбурга, была с Горнштейном лю-

безна, кокетничала с ним, но не допускала его до более интимных отношений. По обязанностям службы, Горштейн не мог долго оставаться в Нейсесе, и влюбленный Ментор с тревогой в душе принужден был покинуть очаровательную Калипсо, – но потом нередко оставлял резиденцию курфюрста, Кобленц, чтобы хоть несколько часов провести в обществе очаровательницы.

Горштейн был уверен в действительности персидских сокровищ Алины. Да и как было не поверить, когда она в самом деле получала откуда-то большие деньги и, живя в Нейсесе, достала значительную сумму, которую предложила гостеприимному своему хозяину на приобретение у Трирского курфюрста прав на графство Оберштейн и на выкуп заложенного графства Стирум. Выкуп курфюрстских прав на Оберштейн на счет Алины казался делом весьма выгодным и для князя Лимбургского, и для самого курфюрста. Горштейн горячо принялся за это дело, а Алина деятельно следила за ним, рассчитывая, что влюбленный князь, выкупив Оберштейн, подарит это владение ей, что и случилось впоследствии. Для увеличения денежных средств, ибо денег, занятых Алиною, было недостаточно на выкуп оберштейнских прав и Стирума и для продолжения роскошной жизни милой принцессы, мотовство которой не имело границ, князь Лимбург вздумал, быть может, по ее же внушению, продать принадлежавшие ему лены в Лотарингии французской короне. Де-Бур вел об этом переговоры в Париже, а для помощи ему

Алина послала туда же своего интенданта де-Марина и таким образом отделалась от присутствия и последнего, оставшегося еще у ней на глазах прежнего обожателя.

По делу о выкупе прав на Оберштейн князь стал нередко ездить в Кобленц для переговоров с курфирстом. Эти отлучки из Нейсеса не очень нравились Алине; она боялась, что очарованный князь охладет к ней, если часто будет покидать ее. Чтобы привязать его к себе покрепче, она разыграла с ним следующую сцену. Однажды, возвратясь из Кобленца, князь Лимбург нашел свою возлюбленную грустной и чем-то крайне озабоченною. Неохотно отвечая на его ласки, она объявила со слезами, что настало время их разлуки. Князь был сильно поражен таким неожиданным известием и спросил о причине. «Я получила от дяди письмо, он требует возвращения моего в Персию». Лимбург стал было уговаривать принцессу остаться, но она решительно отвечала, что должна ехать. «Я не могу долее оставаться в неопределенном положении, я должна ехать, – говорила она. – В Персии я пристроюсь, там ждет меня жених».

Князь Лимбург с ума сходил, пораженный известием о внезапной разлуке с милою женщиной, которую любил искренно. Никакие убеждения его, однако, не могли поколебать решимости Алины. Она просила барона фон-Горнштейна достать ей как можно скорее денег на поездку, обещая как эти деньги, так и нужные на уплату ее долгов, выслать немедленно по прибытии в Персию. Пока Горнштейн

искал денег, Алина сообщила князю Лимбургу еще одну новость: он будет отцом, она беременна. Тогда князь предложил ей свою руку, считая это своею обязанностью, делом чести. Этого только и ждала Алина, но, как ловкая женщина и опытная кокетка, она не тотчас склонилась на сделанное предложение, как ни хотелось ей сделаться владетельною княгиней Священной Римской империи и герцогиней Голштейн-Лимбургскою. Поблагодарив своего любезного, она скромно объявила, что, при всей беспредельной любви к нему, она не может сделаться его женой, потому что политические дела не позволяют ей мешкать в Европе. Отказ еще более воспламенил влюбленного князя; он сказал ей, что не может расстаться с ней и готов пожертвовать всем, чтобы только быть мужем милой Алины. «Я откажусь от престола в пользу младшего брата, – говорил он, – покину хоть навсегда Европу и в Персии найду свое счастье в твоих объятиях». Алина согласилась. Это было в июле 1773 года.

Барон фон-Горштейн хотя и был не прочь от брака своего друга с прекраснейшею женщиной в мире, но, как и следовало ему в качестве Ментора, советовал ему, прежде чем он сделает решительный шаг, удостовериться в происхождении Алины. Для этого нужно было взглянуть на документы об ее рождении. К этому, как ревностный католик, барон фон-Горштейн прибавил, что супругой католического германского государя необходимо должна быть католичка, и потому Алина должна оставить свою греческую схизму. Алина

выдавала себя за православную, хотя, по собственным словам ее, никогда не приобщалась ни в какой церкви.

До нее дошли слухи о советах Горнштейна, и 7 августа 1773 года она написала к нему письмо из Стирума, куда теперь переселилась из замка Нейсеса. Прося советов у Ментора, как ей действовать в ее странном положении, она между прочим писала следующее: «Вы говорите, что меня принимают за государыню Азова (*princesse d'Azof*), я не государыня, а только владетельница Азова (*dame d'Azof*). Императрица там государыня. Через несколько недель вы прочтете в газетах, что я единственная наследница дома Владимирского (*maison de Volodimir*) и в настоящее время без затруднений могу вступить во владение наследством после покойного отца моего. Владения его были подвергнуты секвестру в 1749 и, находясь под ним двадцать лет, освобождены в 1769 году. Я родилась за четыре года до этого секвестра; в это печальное время умер и отец мой. Четырехлетним ребенком взял меня на свое попечение дядя мой, живущий в Персии, откуда я воротилась в Европу 16 ноября 1768 года». Это было первое известное до сих пор по документам показание загадочной женщины об ее личности. Замечательно, что она не называет в этом письме ни отца своего, ни матери и признает себя подданною русской императрицы. Рассказывать сказку о происхождении от императрицы Елизаветы было еще преждевременно по расчетам польской партии. Замечательно и то, что на этот раз Алина говорит, что родилась в год

рождения настоящей княжны Таракановой (как значится в надгробной ее надписи). Поэтому выходит, что в 1773 году, когда она была у князя Лимбурга, ей было 28 лет. Впоследствии, как увидим, она убавляла себе года.

Горнштейн поверил словам Алины и с этого времени стал адресовать ей письма так: «Ее высочеству светлейшей принцессе Елизавете Владимирской» (*A son Altesse Serenissime, madame la Princesse Elisabeth de Volodimir*).

Весть о предстоящей женитьбе князя Лимбурга на принцессе Владимирской вскоре разнеслась и, достигнув до Парижа, имела благоприятные для невесты последствия. Тамошние кредиторы хотели было преследовать за долги уже самое Алину, но де-Бур и де-Марин сообщили им, что она выходит замуж за владетельного имперского князя, обещали им лимбургские ордена, и кредиторы успокоились. Алина сказала теперь своему жениху, что она получила новое письмо от персидского дяди, в котором он дозволил ей остаться в Европе на неопределенное время.

Х

Между тем князь Лимбург уехал в Оберштейн. Дело о выкупе курфирстовых прав на это графство так подвинулось, что князь мог явиться туда уже в качестве единственного владельца. В это время принцесса Владимирская начала переписку с Огинским, все еще жившим в Париже. Она составила проект лотереи и просила его содействия для распространения билетов между французскими банкирами, но Огинский, как официальный посланник польского короля, должен был отказаться от всякого участия в этом деле (28 августа 1773); затем принцесса писала ему о делах Польши, отправила к нему составленную ею записку по польским делам для доставления ее Версальскому кабинету. К сожалению, эта переписка, которая во многом могла бы разъяснить темное, загадочное дело самозванки, – нам неизвестна, хотя, как видно из сообщенных графом В. Н. Паниным в Московское Общество Истории и Древностей сведений, она сохранилась при деле. Князь Лимбург знал о переписке своей невесты с Огинским, не зная ее содержания. Ему пришло в голову, что эта переписка любовного свойства; быть может, в это время уже дошло до его сведения о парижских отношениях Алины к польскому посланнику. Князь стал ревновать ее, а она старалась усиливать это чувство, чтобы заставить Лимбурга поскорее жениться. Но в Оберштейне князь узнал многое из

прежних походов своей подруги, как жила она под разными именами в Берлине, Генте и Лондоне и как участвовала в обманах своих приятелей, выманивавших у разных лиц деньги. Он стал догадываться и о любовных отношениях ее к Шенку и к другим. Алина писала, в свою очередь, князю Лимбургу о дошедших до нее слухах, что его хотят женить на другой, уверяла, что ей также сделано блестящее предложение и что поэтому она освобождает его от данного слова и предлагает разойтись, тем более что нельзя же ей выходить замуж до признания прав ее русским правительством и до получения документов о ее рождении, а этого нельзя получить раньше окончания все еще продолжавшейся войны России с Турцией. В другом письме она писала, что решилась окончательно уволить из службы своей и Шенка и де-Марина и предоставить все имущество свое в распоряжение князя. Для этого она приложила вексель на довольно значительную сумму, который должен был оставаться у князя в виде залога до тех пор, пока обещание о передаче имения не будет ею приведено в исполнение. Она приложила еще черновое письмо к русскому вице-канцлеру, заведовавшему тогда иностранными делами, князю Александру Михайловичу Голицыну, которого называла своим опекуном. В этом письме она сообщала мнимому опекуну о любви своей к князю Лимбургу и о намерении вступить с ним в брак, изъявляла сожаление, что тайна, покрывающая доселе ее происхождение, подает повод ко многим про нее рассказам и что сделан-

ные ею незначительные долги преувеличены с целью иметь возможность поскорее воспользоваться ее сокровищами. В заключение письма она уверяла князя Голицына в неизменности своих чувств, благодарности и привязанности к императрице Екатерине II и в постоянном своем рвении о благе России. При письме приложен был проект о сосредоточении всей азиатской торговли на Кавказе. Алина писала наконец Голицыну, что она готова сама приехать в Петербург для разъяснения этого проекта, если бы в том настояла необходимость.

Подлинного письма к князю Голицыну посылаемо, конечно, не было, но черновое нужно было послать к князю Лимбургскому, чтоб уверить Горнштейна и других его советников в действительности происхождения Алины от Владимирского княжеского дома. Горнштейн на первый раз поверил всему написанному Алиной, но, как человек осторожный, навел справки. Через несколько времени он уведомил своего друга, что весь рассказ о русском опекуне Алины князе Голицыне – чистая ложь. Сам князь не вполне, кажется, верил рассказам своей возлюбленной. В ответных письмах он то уверял ее в пламенной любви, то, сомневаясь в ее рассказах и напоминая прежние скандальные ее похождения, отказывался от ее руки, то грозил поступить в монахи, если она покинет его, то умолял ее откровенно рассказать ему всю истину, за что он простит ей все прошедшее, то просил скорее выслать ему метрическое свидетельство, уверяя, что

связь их лежит тяжелым камнем на его совести, а брак может сделать его совершенно счастливым, но этот брак должен быть совершен не иначе, как по обряду римской церкви, к которой и сама она должна присоединиться. Наконец князь Лимбург просил Алину умерить мотовство, которое довело его до крайности, и советовал подумать об обеспечении будущих детей их.

Обстоятельства князя в то время (осенью 1773 года) находились в неблистательном положении: в Стирум приехал императорский фискал для наложения на это графство запрещения за долги, и хотя Горнштейн успел уладить это дело, но финансовые обстоятельства друга его все более и более запутывались. Несмотря на свою бесхарактерность и на совершенное подчинение воле прелестной Алины, князь Лимбург, узнав во Франкфурте от банкира Алленца о прежнем предосудительном ее поведении, написал к ней резкое письмо, в котором объявил, что он должен с ней расстаться. Алина немедленно отвечала ему. Не отрицая справедливости дошедших до князя слухов, она напомнила ему о своей беременности, и слабодушный князь снова поклялся жениться на ней и везде говорил о твердой решимости обвенчаться с прелестною Алиной. Узнав это, Горнштейн сообщил князю справки о мнимом ее опекуне князе Голицыне. Тогда Алина вдруг собралась ехать в Петербург, куда будто бы призывали ее важные дела, и стала искать денег на поездку. Предположенной ею поездке, по-видимому, все окружающие ве-

рили, даже сам Горнштейн, снабдивший ее деньгами. Чтобы не разлучаться с своею любезной, князь Лимбург сам навел ее на новый обман: чтоб уверить Горнштейна в действительности происхождения ее от князей Владимирских, он посоветовал ей выдать за своего опекуна одного русского князя, жившего тогда в Спа. Она так и сделала. Обман удался вполне. Кто такой был этот русский князь – неизвестно, но впоследствии граф Орлов-Чесменский, когда уже взял самозванку, писал императрице, что она находилась в сношениях с одним знатным русским путешественником, намекая на Ивана Ивановича Шувалова.

XI

Выкупленное с помощью принцессы Владимирской графство Оберштейн князь Лимбургский подарил ей как своей невесте. Хотя формального акта на эту передачу, сколько нам известно, не сохранилось, но единогласные удостоверения разных лиц о действительности этого подарка не оставляют сомнения, что князь в самом деле передал это владение своей очаровательнице. Она переселилась в доставшееся ей таким образом графство в октябре 1773 года.

Здесь она изменилась во многом. С того времени, как она сделалась в Оберштейне полною хозяйкой, князь, бывший в Аугсбурге, и Горнштейн стали получать от разных лиц жалобы на самовластие новой владительницы, а более всего удивляло их, особенно же ревностного католика Горнштейна, что, несмотря на уверения ее, будто занимается изучением католической веры, она стала ходить в протестантскую церковь. Затем, отдалив от себя прежнюю прислугу, Али-на приняла к себе на службу новых лиц и в том числе дочь прусского капитана, Франциску фон-Мешедде, которая была при ней безотлучно до самого конца ее приключений и вместе с нею попала в Петропавловскую крепость. Наконец, удалив де-Марина и всех прежних друзей, принцесса стала заботиться и об удалении самого князя Лимбургского. Они поссорились, но Горнштейн умел помирить их; несмотря на то,

Алина стала холоднее к жениху, а через несколько времени, кажется, и вовсе не помышляла о свадьбе. Что-то она затевала, но князь не мог проникнуть ее замыслов; она только сказала ему, что вместе с Огинским предпринимает блестящее и необыкновенно выгодное дело, и просила сто тысяч гульденов для начатия его.

Осенью 1773 года в Оберштейн стал являться молодой человек, приезжавший из Мосбаха, и проводить по несколько часов с владительницей замка наедине. Он был известен оберштейнской прислуге под именем «Мосбахского незнакомца». Полагали, что это новый любовник, и не ошибались. Алина была слишком пылкого темперамента и не могла жить без любовников, в этом она сама сознавалась, в этом каялась и во время предсмертной исповеди. Мосбахский незнакомец был поляк.

Князь Карл Радзивил летом 1772 года приехал на берега Рейна, откуда входил в сношения с Версальским кабинетом. При нем было немало приверженцев Барской конфедерации и врагов короля Понятовского, которых он употреблял для переговоров. Князь Радзивил не был настолько умен, чтобы самому вести политическую интригу, но в помощниках у него недостатка не было. Мосбахский незнакомец принадлежал к их числу. Это был Михаил Доманский, друг Радзивила, который в 1769 году, во время Барской конфедерации, был консилиаржем Пинской дистрикции (уезда). Он приехал на Рейн одновременно с князем Радзивилом. В марте

1773 года Радзивилл посылал его из Мангейма, где тогда они жили, в Ландсгут, на конфедерационный генеральный польский комитет, собиравшийся в этом городе. Этот комитет состоял из главнейших членов Барской конфедерации, бежавших за границу после решительного поражения их русскими войсками. Целью совещаний было противодействие трактату, который тогда готовились заключить между собой Россия, Австрия и Пруссия о разделе Польши. Доманский предложил от имени Радзивила: издать манифест, в котором протестовать против приготавливаемого раздела и всеми средствами содействовать низвержению с престола Станислава Понятовского. Предложение было принято. В следующем апреле Радзивилл переехал во Францию, избрав местопребыванием своим Страсбург, и осенью 1773 года ездил в Париж.

По возвращении из Парижа в Страсбург, он немедленно послал в Константинополь одного из своих приближенных, Коссаковского, чтобы склонить Порту на сторону конфедератов и выпросить для Радзивила султанский фирман на проезд в турецкую армию, действовавшую тогда против русских. В то же самое время другой его приверженец, Доманский, начал свои таинственные посещения к оберштейнской красавице.

Обратим теперь внимание на то, что происходило в России в это время приготовления поляками самозванки, которая, по их планам, должна была произвести замешательство в России. Летом 1773 года явился на Яике Пугачев, в сентяб-

ре он осаждал Яицкий Городок, взял Илецкую защиту, крепости Рассыпную, Татищеву, Чернореченскую. Затем овладел Сакмарским Городком и Пречистенскою крепостью, а 5 октября находился уже под стенами Оренбурга. Башкирцы и мешчеряки, обольщенные подарками и обещаниями самозванца, стали нападать на русские селения и толпами переходить в шайки бунтовщиков; киргизский хан Нурали вошел в дружеские сношения с Пугачевым, мордва, черемисы, чуваша заволновались и перестали повиноваться русскому правительству, служилые калмыки бегали с форпостов, помещицы крестьяне Оренбургского края и по Волге заговорили о воле, о воле «батюшки Петра Федоровича». В половине октября Оренбургский край весь уже был охвачен мятежом; тогда же (14 октября) императрица послала, для усмирения развивающегося мятежа, генерала Кара, который, как известно, в начале ноября доставил Пугачеву возможность разбить находившееся под его командой войско.

Фокшанские переговоры не привели ни к какому соглашению. Граф Григорий Орлов, возвратясь в Петербург, увидел, что карьера его кончена: он пал. Чесменский герой, находившийся с флотом в Средиземном море, не скрывал своего недовольствия против императрицы. В свою очередь, Панины явились ее противниками. В сентябре 1774 года Павел Петрович вступил в брак с гессен-дармштадтскою принцессой Вильгельминой, названною, по принятии православия, Наталиею Алексеевною. По внушениям Никиты Ивано-

вича Панина, она восстанавливала подпавшего под ее влияние супруга против его матери, внушая, что настала пора ему самому царствовать.

По прекращении фокшанских переговоров начались военные действия против турок. Но войска было мало, и, несмотря на победы Вейсмана и Суворова, армия наша должна была отступить на левый берег Дуная. Осада Силистрии не удалась.

Шведский король Густав III, нарушив конституцию, сделался в 1772 году самовластным государем и горел нетерпением загладить полтавское поражение Карла XII. Он грозил России войной, и с часу на час ожидали, что последует разрыв и шведские войска явятся в Финляндии.

В Польше дела наши шли вяло, русского войска было там немного, и конфедераты подняли головы.

Напрасно Станислав Понятовский объявлял амнистию за амнистией: никто почти не обращал на них внимания, и конфедераты продолжали свое дело. Версальский кабинет подавал им надежду на вооруженное вмешательство Франции в войну России с Турцией. Говорили, что в Тулоне снаряжается сильная французская эскадра, которая должна идти на помощь бедным остаткам турецкого флота, сожженного Алексеем Орловым при Чесме.

Известия о всех этих обстоятельствах, преувеличенные до крайней степени или совсем даже искаженные, разносились по Европе и возбуждали надежды поляков. Известия эти по-

являлись и в газетах. Конечно, тогдашняя журналистика не имела еще такого влияния на дела политические, какое получила она в нашем столетии, но рассеянные по западным государствам члены Барской конфедерации и тогда умели пользоваться ее силой, и тогда, как в недавнее время, подкупали журналистов и печатали разного рода клеветы на ненавистную им Россию.

Польские эмигранты осенью 1773 года признали временным поставив новое затруднение Екатерине в лице подготовленной князем Карлом Радзивилом претендентки на русский престол. Нельзя думать, чтоб они серьезно надеялись возвести на престол Русской империи подставную самозванку, им нужно было лишь создать как можно больше затруднений императрице Екатерине, им нужно было лишь произвести новое замешательство в России. Впрочем, носил же ведь некогда Мономахову шапку названный сын Ивана Грозного, выставленный польскими панами. Отчего же и не повториться этому? Ведь до 1762 года в России, при неопределенности прав престолонаследия, так часто происходили перемены в правительстве, что произведение нового переворота никому не казалось делом невозможным. Сама Екатерина нередко тревожилась этим. И как ей было не тревожиться после заговора Гурьевых, после покушения Мировича, при интригах Никиты Панина, после того, как до нее доходили сведения, будто чумный бунт в Москве 1771 года

произведен был Петром Ивановичем Паниным³¹, будто Иван Иванович Шувалов интригует против нее в западных государствах.

³¹ В деле о моровом поветрии и бунте, находящемся в государственном архиве, есть на это указание.

XII

Мосбахский незнакомец чаще и чаще являлся в Оберштейне. Князь Лимбург сильно ревновал его и думал, что между прекрасною Алиной и этим незнакомцем существуют одни лишь эротические отношения. Из писем князя к его возлюбленной видно, что молва о любовных ее отношениях к таинственному незнакомцу сильно распространилась и что даже в газетах появился по этому поводу какой-то пасквиль. Князь знал, что соперник его поляк, принадлежащий к палатинату, то есть к партии князя Карла Радзивила (палатина виленского). Но поездки Доманского в Оберштейн имели характер не столько любовный, сколько политический. Вследствие этих посещений, в декабре 1773 года разнесся в Оберштейне слух, что в этом замке под именем принцессы Владимирской живет прямая наследница русского престола, законная дочь покойной императрицы Елизаветы Петровны, великая княжна Елизавета. Слух об этом распространился и по другим местам; князь Лимбургский был очень рад такой новости, надеясь, что она склонит его родственников к согласию на брак, которому они сильно противились. Но претендентка на русскую корону, кажется, уже не теми глазами смотрела теперь на влюбленного князя, она была к нему холоднее прежнего. Лимбург ревновал, писал к ней страстные письма и в то же время формально поручал ей вести дело с

русским министерством относительно прав его на Голштинию. Принцесса приняла на себя это дело.

Между тем газеты известили о действиях Пугачева, об осаде им Оренбурга и о распространении мятежа по Уралу. Родственница Радзивила, княгиня Сангушко, получала сведения о ходе дел в России, об успехах Пугачева. Сведения эти доставлялись в Оберштейн к самозванке, причем княгиня Сангушко сообщала ей списки мест, занятых пугачевскими шайками. В это время сам Радзивил счел наконец нужным лично повидаться с мнимою великою княжной и хотел для того приехать к ней в Оберштейн. Князь Лимбург был против этого, но только потому, что боялся новой измены своей невесты. Радзивил писал, что горит нетерпением представиться принцессе, но затрудняется приехать к ней, потому что, одетый в польский кунтуш, может обратить внимание любопытных и тем повредить делу, которое должно вести пока в тайне. Равным образом и ее посещение Радзивила в занимаемом им доме может иметь такие же последствия. Чтоб иметь свидание, Радзивил нанял в Цвейбрюккене особый дом, остававшийся никем не занятым, и в этом доме предложил самозванке иметь с ним свидания. Она согласилась. Свидание состоялось в Цвейбрюккене (Deux Ponts) около нового 1774 года, и после того между князем Карлом Радзивилом и прекрасною принцессой завязалась деятельная переписка. Радзивил возлагал на нее великие надежды. Предположено было: пользуясь замешательством, произведе-

денным Пугачевым, произвести новое восстание в Польше и в белорусских воеводствах, отошедших по первому разделу во владение России, самой же принцессе, вместе с Радзивилом, ехать в Константинополь и оттуда послать в русскую армию, находившуюся в Турции, воззвание, в котором предьявить свои права на престол, занимаемый Екатериной. Этим способом надеялись они свергнуть Екатерину и доставить самозванке императорскую корону. С своей стороны самозванка обещала Радзивилу вернуть Польше отторгнутые от нее области, свергнуть Понятовского с престола и восстановить Польшу в том виде, в каком она находилась при королях саксонской династии. В одном из своих писем князь Радзивил говорит самозванке: «Я смотрю на предприятие *вашего высочества*, как на чудо провидения, которое бдит над нашею несчастною страной. Оно послало ей на помощь вас, такую великую героиню».

Через несколько времени принцесса уведомила князя Лимбурга о полученном ею от княгини Сангушко известии, что король Людовик XV одобрил намерение ее ехать с князем Радзивилом в Венецию и Константинополь и оттуда предьявить права свои на русский престол.

Михаил Казимир Огинский, как официальный посланник польского короля, до сего времени шага не делал к участию в замыслах бывшей своей любовницы. Кроме того, что служебное положение стесняло свободу его действий, он и по природе своей был человек крайне осторожный и притом ле-

нивый; он боялся скомпрометировать и себя и польское дело, в случае, если замысел «принцессы Владимирской» не удастся. Она приглашала его для переговоров в Оберштейн, на что соглашался и ревнивый Лимбург, хотя не без колебания, ибо он, кажется, больше всего к Огинскому ревновал свою невесту. Чтобы не помешать своим присутствием их переговорам, он даже уехал из Оберштейна в Бартенштейн, где жила его сестра. Там он хотел приготовить родных своих к предстоящему браку его с принцессой Елизаветой. Но Огинский не приехал в Оберштейн; Людовик XV в это время находился при смерти. Отлучиться от двора умирающего короля он не мог, ибо, в случае его смерти, должен был выждать, какое направление примет политика его преемника. Зато не раз посылал он в Оберпгтейн своего агента, аббата Бернарди, бывшего наставником детей его зятя, литовского великого кухмистра (т. е. обер-гофмаршала), графа Михаила Виельгорского³². Принцесса через этого аббата всячески уговаривала Огинского присоединиться к ней и даже вместе с Радзивилом ехать в Венецию, а оттуда в Константинополь. Теперь это было возможно для Огинского, ибо он не был более посланником; пост его занял граф Виельгорский. Но Огинский медлил.

³² Он был женат на сестре Огинского, Елизавете. Воспитывавшиеся у аббата Бернарди дети графа Виельгорского были Михаил и Иосиф. Старший, Юрий, впоследствии бывший польским посланником в Петербурге, а потом, по принятии русского подданства, сенатором (женатый на Матюшкиной), в это время кончил уже воспитание. Ему было тогда более 20 лет.

Между тем князь Лимбург продолжал переписку с своею возлюбленною. По-видимому, эта переписка была между ними предварительно условлена, чтобы показывать ее родственникам князя и другим лицам, в случае каких-либо сомнений с их стороны или недобрых толков о принцессе и ее поездке с Радзивилом, когда она огласится. В одном из таких писем, посланном к князю в Бартенштейн, принцесса, успокоивая в нем чувства тревоги, снова возникшей по поводу таинственных посещений ее каким-то молодым поляком (то был если не Доманский, то князь Иероним Радзивил, брат князя Карла), извещала его, что готова принести в жертву милому князю свою блестящую карьеру, но должна предпринять небольшое путешествие, для устранения последних препятствий к их браку. К этому она прибавляла, что, по зрелом обсуждении, она решилась познакомиться с его родными не прежде, как сделается его женой и уплатит издержанные им на нее деньги. В ответ на это Лимбург написал, что, не имея возможности вознаградить часть рода человеческого (то есть Россию) за потерю такой прекраснейшей принцессы, он не может принять от нее такой жертвы. Письма свои князь Лимбург уже адресовал: *ее императорскому высочеству принцессе Елизавете Всероссийской.*

XIII

Князь Лимбург на последние остававшиеся у него денежные средства устроил отъезд своей возлюбленной, достав ей, хотя с большим трудом, на дорогу денег, кроме того, открыл ей кредит у находившегося в Аугсбурге трирского министра Горнштейна и даже отдал ей деньги, приготовленные на собственную поездку в Вену к императору, по делам притязаний на Шлезвиг – Голштейн. Зато принцесса обещала сама впоследствии съездить к императору и выхлопотать это дело.

Князь Лимбург дал ей письменное на то полномочие.

Из Оберштейна принцесса выехала 13 мая 1774 года вместе с князем Лимбургом. Он провожал ее до Цвейбрюккена. Здесь они расстались; на прощанье князь дал ей торжественное обещание быть ее супругом. В письмах, после того писанных, они называли друг друга супругами. Она и в Петропавловской крепости называла князя Лимбурга своим супругом, хотя и объясняла, что по церковному чиноположению они не венчаны. Из Цвейбрюккена принцесса поехала в Аугсбург для свидания с Горнштейном, а печальный, расстроенный разлукой с своею очаровательною «супругой» князь возвратился в Оберштейн, теперь сделавшийся ему столь дорогим по воспоминанию о пребывании в нем прекрасной Алины. По приискании денег на путевые издержки, князь обещался ей немедленно приехать в Венецию, а оттуда

сопровождать принцессу в Турцию.

В Оберштейне князь застал Бернарди, посланного от Огинского к принцессе с просьбой, чтоб она разъяснила ему свои намерения и таинственные намеки, сделанные ею в письме относительно будущности Польши. Князь убедил Бернарди в действительности царственного происхождения своей возлюбленной и рассказал ему о сношениях ее с княгиней Сангушко. Этого было достаточно для убеждения французского аббата. Бернарди был ревностный поклонник прусского короля Фридриха II, человек, вполне ему преданный. Он пришел в восхищение, когда князь Лимбург, поверяя ему планы мнимой наследницы русского престола, уверял его, что как скоро она наденет на голову корону деда своего Петра Великого, то немедленно приступит к политике прусского короля, перед которым благоговееет, что она теперь же, посредством сношений с Пугачевым, постарается способствовать расширению владений Фридриха II на востоке, для чего отклонит вмешательство Австрии турецкими делами, а внимание России – войной с шведским королем, который таким образом будет помогать и ей, и Пугачеву. Бернарди, выслушав князя Лимбурга, дал ему слово, при содействии Виельгорского, убедить Огинского к немедленному отъезду в Венецию, куда уже отправился князь Радзивил со множеством поляков, приверженцев Барской конфедерации.

Принцесса торопилась ехать в Венецию, где ожидал ее

князь Радзивил. Чтобы не иметь остановки в Аугсбурге, где Горнштейн должен был достать ей денег, она еще из Вирцбурга послала передового курьера к трирскому министру, прося его поторопиться приисканием денег и уведомляя, что едет в Венецию, а вслед за нею отправится туда и князь Лимбург. Горнштейн бросился к своему другу уговаривать его не путаться в опасное дело, не ездить в Венецию. Князь поколебался, но оставался однако при своем намерении. Тогда Горнштейн поскакал на свидание с принцессой. Не желая возбуждать общего внимания на свои сношения с претенденткой на русский престол, чтобы тем не скомпрометировать своего государя, курфюрста Трирского, у которого был главным министром, Горнштейн не поехал в Аугсбург и свиделся с принцессой в Зусмаргаузене. Здесь он настоятельно убеждал ее отказаться от своих замыслов, не идти на верную погибель, не связываться с поляками, которые только желают иметь ее своим орудием для достижения собственных замыслов, умолял ее возвратиться в Оберштейн и жить с князем Лимбургом, удаляясь от всех политических интриг. Принцесса поколебалась и дала ему слово пробыть в Венеции самое короткое время, а потом возвратиться в Германию и хлопотать в Вене по Шлезвиг-Голштейнскому делу. Горнштейн выдал ей, за счет князя Лимбурга, 200 червонцев, и она уехала. В Бриксене к ней присоединился Доманский с разными лицами, большею частию поляками. Она сообщила им, что, обдумав все шансы затеянного ею предприятия,

она не решается ехать в Константинополь и намерена пробыть в Венеции самое короткое время, а потом воротиться в Германию. Это озадачило поляков, особенно Доманского. Но «Мосбахский незнакомец» имел на принцессу влияние: он стал ее уговаривать не оставлять задуманного предприятия, блестящими красками разрисовал будущее ее положение, когда скипетру ее будут повиноваться миллионы. К этому присоединены были нежные ласки, и Алина не устояла. Она решилась идти, куда поведет ее гений Польши, нарушила данное Горштейну слово и уведомила его, что пробудет в Венеции несколько долее, чем обещалась. Зная слабую струну ревностного католика Горштейна, Алина приписала, что намерена воспользоваться пребыванием в Венеции для основательного изучения догматов римско-католической веры, которую намерена принять.

Горштейн был крайне удивлен, получив чрез несколько дней два письма: одно от князя с просьбой передать присланное письмо «ее императорскому высочеству принцессе Елизавете Всероссийской», а другое от нее, с «просьбой доставить приложенное письмо к *ее супругу*». До сих пор он не придавал особенного значения слухам и разговорам о царственном происхождении любовницы своего друга, но теперь увидел, что сам князь признает ее за дочь императрицы Елизаветы. Ему, главному министру одного из германских курфирстов, неловко было передавать такие письма: они могли навлечь немало хлопот его государю; с другой сто-

роны, Горнштейн мог заключить, что брак князя Лимбурга, против которого он так усердно действовал, совершился... Он написал к принцессе письмо, в котором обращал ее внимание на множество противоречий, встречающихся как в прежнем, так и в настоящем ее поведении, а впрочем, обещал ей зависящую от него помощь и настоятельно уговаривал выбрать в Венеции хорошего католического священника, которому бы она могла вполне довериться.

Князь Лимбург получил между тем известие, что король Людовик XV умер и вступивший на престол Людовик XVI сочувственно отозвался о предприятии князя Радзивила. Он немедленно уведомил о столь радостной вести свою возлюбленную. Но вскоре он разочаровался в ожидаемом успехе.

XIV

Денежные дела князя Радзивила были теперь не в блистательном положении. Когда король Станислав Понятовский в 1772 году объявил амнистию всем оставившим пределы отечества участникам Барской конфедерации и прочим противникам королевским, князь Карл с насмешкой отвергнул предлагаемое прощение и не воротился в Литву. В 1773 году виленский епископ Мосальский писал к нему, уговаривая возвратиться и примириться с королем и напоминая, что в противном случае будет наложен секвестр на его обширные имения. Радзивил, будучи в Париже, поколебался было: ему, обладателю столь громадных богатств, страшно было расстаться с ними, но, построив уже план поездки в Константинополь, он посоветовался с французским министром герцогом Эгильоном и по его внушению решительно отказался от покорности королю Понятовскому. В начале января 1774 года отправился он в Венецию, куда и прибыл в конце февраля. Между тем имения Радзивила попали под секвестр, и он из Литвы не стал получать ни копейки. Приходилось жить на оставшиеся в шкатулке деньги и продавать бриллианты. Принцессе он не мог давать значительных сумм.

«Персидский дядя» исчез. Но на такое дело, за какое взялась принцесса, необходимо было иметь немалый запас денег. Находчивая женщина тотчас придумала средство по-

лучить миллионы: она составила проект русского внешнего займа от своего имени, как единственной законной наследницы Русской империи. Этот проект она послала в Париж, к Огинскому, который должен был пригласить тамошних банкиров к подписке. Но Огинский решительно отказался от участия в этом замысле. В письме к принцессе он в весьма изящных фразах говорил ей о предстоящем ей блистательном поприще, когда она сделается повелительницей огромной империи, но не без сарказма извинился, что не может содействовать успешному ходу ее займа.

Князь Лимбург, прочитав письмо Огинского и зная, что без денег любезная его не может достигнуть осуществления своих замыслов, сильно поколебался. В то же время немецкие газеты извещали, что счастье, доселе благоприятствовавшее *союзнику принцессы, Пугачеву*, изменило ему. Бибиков успешно подавил мятеж, Оренбург был освобожден, Яицкий Городок занят верными императрице войсками, и Пугачев, как писали, совершенно разбит.

Сообщая все эти новости своей возлюбленной, князь Лимбург умолял ее бросить опасные и едва ли при теперешних обстоятельствах возможные к исполнению замыслы и скорее воротиться в Оберштейн, где ждут ее объятия и горячие поцелуи жениха. Но принцесса уже не могла повернуть назад. Ее и Радзивила хотя и смутили слухи о подавлении пугачевского бунта, но ненадолго. Скоро до Венеции дошли благоприятные для поляков и самозванки известия:

дела Пугачева поправились. Бибиков внезапно умер. В России распространился слух, что он отравлен одним из польских конфедератов. Конфедераты действительно были тогда в восточной России, были и в шайках Пугачева³³.

По смерти Бибикова (9 апреля 1774 года) дела Пугачева действительно поправились: он снова явился на Уральских заводах, еще более страшный, чем прежде. Принцесса вскоре была утешена известием, что от Сибири до Волги «ее союзник» властвует.

Она приехала в Венецию в последних числах мая, под именем графини Пиннеберг. Графство Пиннеберг находилось в Голштинии, и она приняла фамилию по его имени как будущая герцогиня Голштейн-Лимбург. В Венеции же пошли слухи, что под этим именем скрывается уже настоящая его супруга. Дошедшие о том до Оберштейна слухи сильно встревожили князя Лимбурга, и он написал к возлюбленной, чтоб она отнюдь не выдавала себя за жену его. Но в то же время он послал в Венецию своим резидентом барона Кнорра и повелел ему быть гофмаршалом при дворе графини Пиннеберг. Непоследовательность действий неда-

³³ Нельзя отвергать возможности сношений, посредством этих конфедератов, князя Радзивила и подставной принцессы Елизаветы с пьяным казаком, которого в Европе представляли человеком образованным, бывшим прежде пажом при дворе Елизаветы, учившимся в Берлине математике и отличавшимся в знании тактики. Нельзя отвергать этих сношений до тех пор, пока дело о Пугачеве не сделается вполне известным. Нельзя отвергать и сношений шведского короля с Пугачевым и с мнимою княжной Таракановой. Недаром же Екатерина в письмах своих к Вольтеру называла Густава III «другом маркиза Пугачева».

лекого князя Лимбурга являлась на каждом шагу.

Князь Радзивил с сестрой своею Теофилой Моравской³⁴ уже два месяца жил в Венеции, когда приехала в эту республику давно ожидаемая им принцесса. Для нее приготовлена была пышная квартира – дом французского посольства при Венецианской республике. Ясное доказательство, что новый король Франции и Наварры, Людовик XVI, благоприветствовал предприятию самозванки. При графине Пиннеберг был свой двор: барон Кнорр, как мы уже заметили, сделан был гофмаршалом «ее высочества».

На третий день по приезде принцессы князь Карл Радзивил сделал ей пышный официальный визит, в сопровождении блестящей свиты, и представил бывших с ним знатных поляков: своего дядю, князя Радзивила, графа Потоцкого, стоявшего во главе польской генеральной конфедерации, графа Пржездецкого, старосту Пинского, Чарномского, одного из деятельнейших членов генеральной конфедерации, и многих других. Радзивил и Потоцкий были в лентах. На другой день принцесса сделала визит графине Моравской, у которой в то время находился и брат ее. Затем князь Карл Радзивил часто посещал принцессу, являясь к ней обыкновенно в сопровождении своего секретаря Микошты. Графиня Пиннеберг жила роскошно и открыто в палатах француз-

³⁴ Княжна Теофила Радзивил была замужем за польским генерал-лейтенантом Моравским.

ского резидента и искала новых знакомств³⁵. Толпа польских и французских офицеров, собравшихся вокруг князя Радзивила, чтоб ехать с ним на подмогу туркам против России, ежедневно наполняла приемные комнаты графини. Кроме Радзивилов, чаще других у нее бывали граф Потоцкий, граф Пржездецкий и сэр Эдуард Вортли Монтегю, англичанин, долго путешествовавший по Востоку, сын известной английской писательницы, лэди Мэри, дочери герцога Кингстон. Нередко посещали ее два капитана из Варварийских владений султана, Гассан и Мехемет, корабли которых стояли в то время в Венецианском порте. На одном из этих кораблей графиня Пиннеберг намеревалась ехать к султану. Но роскошная жизнь ее в Венеции скоро истощила ее средства. С обычною ловкостью принялась она за прежнее: искать денег. Несмотря однако на новоизобретенные рассказы о богатых агатовых копиях, находящихся будто бы в принадлежащем ей Оберштейне, несмотря на знакомство графини с венецианскими банкирами, она никак не могла доставать много денег: венецианский банк ссудил ей только 200 червонцев. Тогда графиня Пиннеберг стала торопить Радзивила отъездом

³⁵ В № 38 «Московских ведомостей», 1774, от 13 мая, напечатано известие из Венеции от 18 марта: «Князь Радзивил и *его сестра* учатся по-турецки и поедут в Рагузу, откуда, как сказывают, турецкая эскадра проводит их в Константинополь». М. Н. Лонгинов («Русский вестник», 1859, № 24, стр. 723) думает, что под именем сестры Радзивила должно разуметь княжну Тараканову, но теперь мы знаем, что в марте 1774 года в Венеции действительно жила родная сестра Радзивила, графиня Моравская, а самозваной дочери императрицы Елизаветы Петровны до конца мая еще не было в Венеции.

в Константинополь, куда 16 мая они вместе и отправились.

Приезд графини в Венецию наделал немало шума. Сначала было приняли ее за жену графа Голштейн-Лимбурга, но, получив от него запрещение называться его женой, она отрицала это; без сомнения, и резидент князя при Венецианской республике старался о рассеянии этих слухов. Стали обращаться к князю Карлу Радзивилу, находившемуся с ней в ежедневных почти сношениях, и «пане коханку», под условием строжайшей тайны, каждому рассказывал, что это дочь русской императрицы Елизаветы, рожденная от тайного брака, и приехала из Германии, чтобы под его покровительством ехать в Константинополь. Сама самозванка старалась о распространении таких слухов.

Варварийские капитаны 16 июня 1774 года посадили на корабли свои князя Карла Радзивила с его дядей, с графиней Моравскою и многочисленным сборищем польских и французских офицеров. С ними же села и графиня Пиннеберг со всем двором своим, кроме гофмаршала барона Кнорра, оставшегося в Венеции для устройства ее дел и для ведения переписки. Когда графиня Пиннеберг приехала на рейд, Радзивил с своими был уже на палубе. Ее встретили с большим почетом. Ей все представились и, по придворному этикету, целовали ее руку. Радзивилы обходились с ней самым почтительным образом, равно как и графиня Моравская.

Путешествие сначала шло при самых благоприятных обстоятельствах. Варварийские корабли плыли на юг по Адри-

атике, но вдруг подул противный ветер, и они едва добрались до острова Корфу. Вышедши с корфиотского рейда, Гассан, опасаясь бедствий на море, решился возвратиться в Венецию. Этим воспользовались сестра и дядя Карла Радзивила, намереваясь из Венеции сухим путем отправиться в Польшу. Принцессе также советовали воротиться, но роковая судьба влекла ее. С Карлом Радзивил ом перешла она на корабль Мехемета, который брался довести их до Константинополя. Противные ветры однако понесли корабль назад, к северу, и в последних числах июля 1774 года Мехемет принужден был бросить якорь у Рагузы.

Рагузская республика не питала симпатии к Екатерине II: граф Орлов-Чесменский, начальствовавший русским флотом в Средиземном море, немало наделал досады ее сенату. Потому «великая княжна Елизавета» принята была местным населением с радостью, хотя сенат и воздержался официально признать ее в присваиваемом ею звании. Так же, как и в Венеции, принцессе уступлен был для помещения дом французского консула при Рагузской республике, де-Риво.

Этот дом сделался, так сказать, главной квартирой польско-французской экспедиции. Радзивил с знатнейшими членами своей свиты ежедневно обедал у «великой княжны все-российской». Расходы платил «пане коханку».

XV

В Рагузе окончательно созрел план действий «принцессы Елизаветы». На ежедневных обедах поляки внушали ей мысль: торжественно объявить о правах своих на престол и в этом смысле послать воззвание в русскую армию, находившуюся тогда в Турции, и другое – на русскую эскадру, стоявшую под начальством графа Алексея Орлова и адмирала Грейга в Ливорно. Не более как через неделю по прибытии в Рагузу (10 июля) принцесса писала уже к Горнштейну, что намерена объявить о своем происхождении русским морякам и что это тем более нужно, что ее недоброжелатели уже распространили ложные слухи, будто она умерла. «Постараюсь, – писала она, – овладеть русским флотом, находящимся в Ливорно; это не очень далеко отсюда. Мне необходимо объявить, кто я, ибо уже постарались распустить слух о моей смерти. Провидение отмстит за меня. Я издам манифесты, распространю их по Европе, а Порта открыто объявит их во всеобщее сведение. Друзья мои уже в Константинополе; они работают, что нужно. Сама я не теряю ни минуты и готовлюсь объявить о себе всенародно. В Константинополе я не замешкаю, стану во главе моей армии, и меня признают». Далее «великая княжна» упоминала о документах, доказывавших будто бы права ее на корону.

Документы эти были составлены, по всей вероятности, по-

ляками. Хотя при деле находятся они переписанные рукой самой претендентки³⁶, но по сличении их с письмами ее и с другими бумагами не остается сомнения, что они выштли из-под редакции не самозванки, а другого лица, лучше ее владевшего французским языком. Один из документов (духовное завещание императрицы Елизаветы Петровны) найден в бумагах принцессы в двух экземплярах: один переписан ее рукой, а на другом, с которого, вероятно, она списывала копии, находится ее собственноручная надпись: «Testament d'Elisabeth, Princesse imperiale de toutes les Russies». По удостоверению составителя «Записки о самозванке», помещенной в «Чтениях», почерк последнего не имеет сходства ни с почерком князя Лимбурга, ни с почерком лиц, составлявших его общество, стало быть, означенные документы были писаны не в Оберштейне. По всей вероятности, они были приготовлены поляками заблаговременно и вручены принцессе в Рагузе. Может быть, это была работа Доманского или Чарномского. Так полагает граф В. Н. Панин, доставивший сведения о самозванке в императорское Общество Истории и Древностей.

Вручившие принцессе копии с духовных завещаний уверили ее, что русские подлинники хранятся в надежных руках. Так впоследствии сама она писала графу Орлову.

³⁶ Два экземпляра завещания Петра I, экземпляр завещания Екатерины I и один из двух экземпляров завещания Елизаветы Петровны переписаны рукой самой самозванки.

Документы эти состояли из подложных духовных завещаний Петра I и Елизаветы Петровны и из экстракта действительного завещания Екатерины I. Завещание Петра I состоит из шести пунктов. Первым назначается преемницей императорского престола Екатерина (1a czarine), в остальных находятся следующие распоряжения: Екатерине наследует великий князь Петр Алексеевич и его потомство, а дочери ее получают завоеванные Петром области: остров Эзель, Эстляндию и Лифляндию, а также доход с рижской таможни. Великий князь Петр Алексеевич должен жениться на принцессе из дома Любекского. Если он не оставит потомства, русская корона переходит к Анне Петровне и ее наследникам, с тем однако, что тот из них, кто будет на шведском престоле, не может быть русским императором. Если Анна Петровна не оставит наследников, престол переходит к Елизавете Петровне и ее потомству.

Экстракт из духовного завещания Екатерины I во всем согласен с действительным завещанием этой императрицы.

Вот мнимое завещание императрицы Елизаветы Петровны:

«Елизавета *Петровна* (?), дочь моя, наследует мне и управляет Россией так же самодержавно, как и я управляла. Ей наследуют дети ее, если же она умрет бездетною – потомки Петра, герцога Голштинского³⁷.

Во время малолетства дочери моей Елизаветы, герцог

³⁷ Император Петр III.

Петр Голштинский будет управлять Россией с тою же властью, с какою я управляла. На его обязанность возлагается воспитание моей дочери; преимущественно она должна изучить русские законы и установления. По достижению ею возраста, в котором можно будет ей принять в свои руки бразды правления, она будет всенародно признана императрицею всероссийскою, а герцог Петр Голштинский пожизненно сохранит титул императора, и если принцесса Елизавета, великая княжна всероссийская, выйдет замуж, то супруг ее не может пользоваться титулом императора ранее смерти Петра, герцога Голштинского. Если дочь моя не признает нужным, чтобы супруг ее именовался императором, воля ее должна быть исполнена, как воля самодержицы. После нее престол принадлежит ее потомкам как по мужской, так и по женской линии.

Дочь моя, Елизавета, учредит (верховный) совет и назначит членов его. При вступлении на престол она должна восстановить прежние права этого совета. В войске она может делать всякие преобразования, какие пожелает. Через каждые три года все присутственные места, как военные, так и гражданские, должны представлять ей отчеты в своих действиях, а также счета. Все это рассматривается в совете дворян (*Conseil des Nobles*), которых назначит дочь моя Елизавета.

Каждую неделю должна она давать публичную аудиенцию. Все просьбы подаются в присутствии императрицы, и

она одна производит по ним решения. Ей одной предоставляется право отменять или изменять законы, если признает то нужным.

Министры и другие члены совета решают дела по большинству голосов, но не могут приводить их в исполнение до утверждения постановления их императрицею Елизаветою Второй.

Завещаю, чтобы русский народ всегда находился в дружбе с своими соседями. Это возвысит богатство народа, а бесполезные войны ведут лишь к уменьшению народонаселения.

Завещаю, чтоб Елизавета послала посланников ко всем дворам и каждые три года переменяла их.

Никто из иностранцев, а также из не принадлежащих к православной церкви не может занимать министерских и других важных государственных должностей.

Совет дворян назначает уполномоченных ревизоров, которые будут через каждые три года обозревать отдаленные провинции и вникать в местное положение дел духовных, гражданских и военных, в состояние таможен, рудников и других принадлежностей короны.

Завещаю, чтобы губернаторы отдаленных провинций: Сибири, Астрахани, Казани и др., от времени до времени представляли отчеты по своему управлению в высшие учреждения в Петербург или в Москву, если в ней Елизавета утвердит свою резиденцию.

Если кто сделает какое-либо открытие, клонящееся к об-

ценародной пользе или к славе императрицы, тот о своем открытии секретно представляет министрам и шесть недель спустя в канцелярию департамента, заведывающего тою частью; через три месяца после того дело поступает на решение императрицы в публичной аудиенции, а потом в продолжение девяти дней объявляется всенародно с барабанным боем.

Завещаю, чтобы в азиатской России были установлены особые учреждения для споспешествования торговле и земледелию и заведены колонии при непременном условии совершенной терпимости всех религий. Сенатом будут назначены особые чиновники для наблюдения в колониях за каждою народностию. Поселены будут разного рода ремесленники, которые будут работать на императрицу и находиться под непосредственною ее защитой. За труд свой они будут вознаграждаемы ежемесячно из местных казначейств. Всякое новое изобретение будет вознаграждаемо по мере его полезности.

Завещаю завести в каждом городе на счет казны народное училище. Через каждые три месяца местные священники обозревают эти школы.

Завещаю, чтобы все церкви и духовенство были содержимы на казенное иждивение.

Каждый налог назначается не иначе, как самую дочерью моей Елизаветой.

В каждом уезде ежегодно будет производимо исчисление

народа, и через каждые три года будут посылаемы на места особые чиновники, которые будут собирать составленные чиновниками переписи.

Елизавета Вторая будет приобретать, променивать, покупать всякого рода имущества, какие ей заблагорассудится, лишь бы это было полезно и приятно народу.

Должно учредить военную академию для обучения сыновей всех военных и гражданских чиновников. Отдельно от нее должна быть устроена академия гражданская. Дети будут приниматься в академию девяти лет.

Для подкидышей должны быть основаны особые постоянные заведения. Для незаконнорожденных учредить сиротские дома и воспитанников выпускать из них в армию или к другим должностям. Отличившимся императрица может даровать право законного рождения, пожаловав кокарду красную с черными каймами и грамоту за собственноручным подписанием и приложением государственной печати.

Завещаю, чтобы вся русская нация от первого до последнего человека исполнила сию нашу последнюю волю и чтобы все, в случае надобности, поддерживали и защищали Елизавету, мою единственную дочь и единственную наследницу Российской империи.

Если до вступления ее на престол будет объявлена война, заключен какой-либо трактат, издан закон или устав, все это не должно иметь силы, если не будет подтверждено согласием дочери моей Елизаветы, и все может быть отменено си-

лою ее высочайшей воли.

Предоставляю ее благоусмотрению уничтожать и отменять все сделанное до вступления ее на престол.

Сие завещание заключает в себе последнюю мою волю. Благословляю дочь мою Елизавету во имя Отца и Сына и Святого Духа».

С первых же дней пребывания в Рагузе графиня Пиннеберг, на ежедневных обедах в ее квартире, так рассказывала французским и польским сотрапезникам историю своих приключений. «Я дочь императрицы Елизаветы Петровны от брака ее с казацким гетманом (*grand hetman de tous les Cosaques*³⁸), князем Разумовским. Я родилась в 1753 году и до девятилетнего возраста жила при матери. Когда она скончалась, правление Русскою империей принял племянник ее, принц Голштейн-Готторпский, и, согласно завещанию моей матери, был провозглашен императором под именем Петра III. Я должна была лишь по достижении совершеннолетия вступить на престол и надеть русскую корону, которой не надел Петр, не имея на то права. Но через полгода по смерти моей матери жена императора Екатерина низложила своего мужа, объявила себя императрицей и короновалась в Москве мне принадлежащею, древнею короной царей мос-

³⁸ Отец княжны Таракановой никогда не был казацким гетманом, в это звание избран в 1750 году и утвержден в нем императрицей меньшей брат его, граф Кирилл Григорьевич. Оба Разумовские были только графами, а не князьями. Княжеское достоинство из Разумовских получил сын гетмана, граф Андрей Кириллович, первый посол на Венском конгрессе, ноября 24 1814 года.

ковских и всея России. Лишенный власти, император Петр, мой опекун, умер. Меня, девятилетнего ребенка, сослали в Сибирь. Там я пробыла год. Один священник сжалился над моею судьбой и освободил меня из заточения. Он вывез меня из Сибири в главный город донских казаков (la capitale de Donskoi). Друзья отца моего укрыли меня в его доме, но обо мне узнали, и я была отравлена. Принятыми своевременно медицинскими средствами была я однако возвращена к жизни. Чтоб избавить меня от новых опасностей, отец мой, князь Разумовский, отправил меня к своему родственнику, шаху персидскому³⁹. Шах осыпал меня благодеяниями, пригласил из Европы учителей разных наук и искусств и дал мне, сколько было возможно, хорошее воспитание. В это же время научилась я разным языкам, как европейским, так и восточным. До семнадцатилетнего возраста (1760 г.) не знала я тайны моего рождения; когда же достигла этого возраста, персидский шах открыл ее мне и предложил свою руку. Как ни блистательно было предложение, сделанное мне богатейшим и могущественнейшим государем Азии, но как я должна бы была, в случае согласия, отречься от Христа и православной веры, к которой принадлежу с рождения, то и отказалась от сделанной мне чести. Шах, наделив меня богатствами, отправил меня в Европу, в сопровождении зна-

³⁹ В письме к английскому посланнику в Неаполе, сэру Вильямсу Гамильтону, из Рима, от 21 декабря 1774 года, принцесса называет этого шаха Жамас «Schah Jamas etait encore roi de Perse». Может быть, она хотела сказать Тахмас (Надир-шах), но он умер ранее этого времени.

менитого своею ученостью и мудростью Гали. Я переделалась в мужское платье, объездила все наши (живущие в России) народы христианские и нехристианские, проехала через всю Россию, была в Петербурге и познакомилась там с некоторыми знатными людьми, бывшими друзьями покойного отца моего. Отсюда отправилась я в Берлин, сохраняя самое строгое инкогнито, здесь была принята королем Фридрихом II и начала называться принцессой. Тут умер Гали, я отправилась в Лондон, оттуда в Париж, наконец, в Германию, где приобрела покупкой у князя Лимбурга графство Оберштейн. Здесь я решила ехать в Константинополь, чтоб искать покровительства и помощи султана. Приверженцы мои одобрили такое намерение, и я отправилась в Венецию, чтобы вместе с князем Радзивил ом ехать в столицу султана».

Свита князя Радзивила, состоявшая из восьмидесяти офицеров, была в восхищении от рассказов графини Пиннеберг. Французские искатели приключений и польская шляхта уже мечтали о почестях и богатствах, ожидающих их в Петербурге, если, при содействии их, очаровавшая всех милою любезностию, своим умом и разнообразными талантами ежедневная их собеседница наденет на свою красивую головку русскую императорскую корону. Нельзя думать, чтобы все эти люди знали о самозванстве принцессы и таким образом сознательно участвовали в обмане. Вполне владели тайной, вероятно, только князь Радзивил да самые ближайшие его советники.

Графиня Пиннеберг уверяла, что в России есть сильная партия, преданная ей и желающая видеть ее на престоле. Во главе этой партии, по словам ее, находится родной брат ее, князь Разумовский, известный под именем Пугачева. По словам ее, Пугачев был сын князя Разумовского от первого брака. Так писала самозванка верховному визирю. Другим она говорила, что Пугачев – человек знатного происхождения, из донских казаков, искусный генерал, хороший математик и отличный тактик, одаренный замечательным талантом привлекать к себе народные толпы, потому что умеет убедительно говорить с простонародьем. «Когда Разумовский, отец мой, – продолжала она, – приехал в Петербург, этот Пугачев, тогда еще очень молодой человек, находился в его свите. Императрица Елизавета Петровна пожаловала Разумовскому Андреевскую ленту и сделала его великим гетманом всех казачьих войск, а Пугачева назначила пажем при своем дворе. Заметив, что молодой человек выказывает большую склонность к изучению военного искусства, она отправила его в Берлин, где он и получил блистательное военное образование». Еще находясь в Берлине, Пугачев, по рассказам принцессы, действовал, насколько было ему возможно, в пользу своей сестры, законной наследницы русского престола, скрывавшейся под разными именами сначала в Персии, а потом в разных государствах Европы. В свою очередь, действовал в ее пользу и персидский шах, другой ее родственник и воспитатель. Так как Персия ведет обшир-

ную торговлю со всеми восточными странами и в том числе с азиатскими провинциями Русской империи, то шах, посредством торговцев, успел склонить на сторону «великой княжны Елизаветы» многих из обитателей этих провинций. С одной стороны шах, с другой – князь Разумовский под именем Пугачева тайными путями успели наконец привлечь все население соседних с Персией и других восточных областей России на ее сторону. Тогда, чтобы быть в безопасности, она поехала в Европу, а Пугачев, оставив Берлин, стал во главе населения, восставшего против Екатерины. Он решился на этот подвиг, говорила «великая княжна Елизавета», чтоб избавить множество невинно сосланных Екатериной, томившихся в хижинах Сибири. Когда восточные провинции восстали, желая видеть на престоле Елизавету II, Пугачев объявил себя регентом империи. Так как по смыслу завещания императрицы Елизаветы Петровны регентом назначен был принц Петр Голштинский с титулом императора, то и Пугачев официально принял на себя имя Петра и титул императора. Но главная цель его восстания состоит в возведении на престол сестры своей, законной наследницы русского престола. Так как она достигла уже совершеннолетия, то он, свергнув с престола Екатерину, немедленно передаст ей самодержавную власть над всеми областями Русской империи.

Такие рассказы рассказывала в Рагузе «принцесса Владимирская». Несмотря на очевидную их сказочность, им ве-

рили и обо всем рассказываемом принцессой распространяли слухи по Европе. Некоторые из этих слухов нашли себе место на столбцах *Франкфуртской* и *Утрехтской* газет. Герцог Ларошфуко и граф Бюсси, приезжавшие в Оберштейн к скучавшему по своей подруге князю Лимбургу, уверяли его, что в парижских салонах много толкуют о принцессе и представляют будущность ее в самом блестящем виде, ибо полагают за несомненное, что она, по закону ей принадлежащему праву, рано или поздно, наденет корону Российской империи⁴⁰. В «*Gazette d'Utrecht*»⁴¹ была напечатана корреспонденция из Неаполя от 4 августа, в которой много говорилось о почестях, оказываемых в Рагузе «польским князем» «неизвестной принцессе».

В самой Рагузе слух о наследнице русского престола, «Елизавете II», сделался до того общим, что тамошний сенат встревожился. Хотя Рагузская республика и была недовольна Екатериной, но сенаторы не могли не опасаться вредных для их отечества последствий, если русское правительство обратит серьезное внимание на происки претендентки. В таком случае слабой республике, которой русские уже один раз дали сильный урок, предстояла бы неминуемая опасность. Рагузский сенат отнесся в Петербург к своему поверенному по делам о домогательствах неизвестной женщины, называющей себя «великою княжной Всероссийскою», предписав

⁴⁰ Де-Марин писал об этом принцессе в Рагузу.

⁴¹ «*Gazette d'Utrecht*», 1774 г., № 68.

сообщить об этом графу Никите Ивановичу Панину, заведовавшему иностранными делами. Но Панин не считал нужным придавать этому делу какую-либо важность: он просил рагузского поверенного уведомить сенат, что нет никакой надобности обращать внимание на «эту побродяжку».

Само собою разумеется, что граф Панин о сообщении рагузского сената докладывал императрице и самый ответ поверенному дан был по ее повелению. Екатерина не желала делать из этого громкой истории и придумала иное средство уничтожить самозванку с ее замыслами. Она решилась без шума и огласки захватить ее в чужих краях. Для исполнения такого плана императрица избрала графа Алексея Орлова, которого решительность и находчивость в подобных случаях были ей очень хорошо известны.

XVI

В первые дни пребывания в Рагузе князь Радзивил и свита его относились к «принцессе Елизавете» чрезвычайно почтительно и соблюдали относительно нее строгий этикет. Она была центром польско-французской колонии, жившей в Рагузе, сам «пане коханку», казалось, отошел на второй план. Опутанная сетями интриги, искусно сплетенной поляками при несомненном участии достопочтенных отцов иезуитов, так называемая великая княжна, не зная ничего положительного о своем рождении, отчасти сама верила тому, что о ней рассказывали и что с голосу советников сама она рассказывала и писала к разным влиятельным лицам и даже к государям. Оказываемое ей почтение принимала она как должное и к самому Радзивилу стала относиться с тоном покровительства. Вероятно, «пане коханку» наскучила эта комедия, притом же получавшиеся известия о мирных переговорах Порты с Россией и о поражении Пугачева разрушали надежды поляков. Так или иначе, отношения князя Радзивила к принцессе вскоре изменились. Июля 23, в письме к князю Лимбургу, принцесса уже жаловалась на Радзивила. Она хотела напечатать в газетах прокламацию о притязаниях своих на русскую корону, хотела обнародовать завещание императрицы Елизаветы Петровны, но Радзивил тайно этому воспрепятствовал: уверил принцессу, что он отправил

статьи к журналистам, а в самом деле уничтожил их.

Еще из Венеции отправлен был Радзивилом в Константинополь один из его агентов, Радзишевский. Ему поручено было собрать нужные сведения о положении дел и испросить у султана фирман на поездку Радзивила с поляками и французами в Турцию. Долго Радзишевский не возвращался, и в Рагузе не имели никаких достоверных известий с театра войны. Наконец получено было письмо Радзишевского. Он писал из Адрианополя, от 13 июля (2 по старому стилю, то есть за восемь дней до заключения Кучук-Кайнарджиского мира), что турецкая армия находится в самом жалком состоянии, средства Турции истощены, и, уstraшенная победами русских, она склоняется к миру. Полякам, находящимся в турецком лагере, писал агент Радзивила, очень плохо, а Версальский двор, на который возлагали такую надежду польские конфедераты, сам предложил теперь султану свое посредничество для заключения мира с Екатериной. Что касается до фирмана Радзивилу и его свите, он не был изготовлен, и потому Радзишевский не мог и хлопотать о выдаче собравшимся в Рагузе какого-либо пособия со стороны Порты – деньгами или жизненными припасами. Невыдача фирмана произошла, впрочем, вследствие интриг самих поляков. Находившийся при турецком войске официальный агент польской конфедерации Каленский сильно интриговал в Порте, чтобы не выдавали князю Радзивилу фирмана, и вполне успел в своих происках.

Радзивил не сообщил письма Радзишевского окружавшим его; он еще надеялся перехитрить Каленского, достать султанский фирман и, приехав в Константинополь, возбудить турок к продолжению войны с Россией. Сообщил ли он известия, полученные от Радзишевского, принцессе, неизвестно, но с этого времени она в письмах своих в Германию стала настойчиво уверять, что слухи о предполагаемом мире Турции с Россией и о поражении Пугачева не имеют никакого основания, что, напротив, все благоприятствует ее предприятию и что она в скором времени отправится в Константинополь и присоединится к турецкой армии.

Между тем в Кучук-Кайнарджи происходили мирные переговоры. Известие об этом, хотя и не скоро, достигло Рагузы. Радзивил увидел, что предприятие его рушилось, и стал придумывать средства, как бы выйти из комического положения, в которое он поставил себя перед всею Европой, а особенно перед поляками. Но принцесса не унывала. Самообольщенная до крайней степени, она еще надеялась отклонить султана от ратификации мира предложением своей помощи. Доходившие до нее слухи о всеобщем недовольстве в Турции условиями Кучук-Кайнарджиского мира, о том, что султан Ахмет и его правительство смотрят на него лишь как на кратковременное перемирие и что Порта при первом удобном случае намерена нарушить его и начать новую войну против Екатерины – были совершенно справедливы. Они-то и поддерживали уверенность «принцессы Елизавете-

ты» в успехе ее предприятия. Она написала к султану Ахмету (24 августа) письмо, в котором, объявляя себя законною наследницей русского престола, просила снабдить ее и князя Радзивила фирманом. «Принцесса Елизавета, дочь покойной императрицы Всероссийской Елизаветы Петровны, – писала она, – умоляет императора Оттоманов о покровительстве». Далее она упоминала, что несчастья, доселе преследовавшие ее, препятствовали ей занять принадлежащий ей престол: ссылка в Сибирь была первым препятствием, затем ее отравили, и приверженцы принцессы долгое время отчаивались за ее жизнь, наконец она бежала к родственнику своего отца, казацкого гетмана, и теперь, соединясь в Венеции с князем Карлом Радзивилом, ожидает в Рагузе султанского фирмана. Предлагая союз Порте, принцесса уверяла султана, что имеет в России много приверженцев, которые уже одержали значительные победы над войсками Екатерины, и что русский флот, находящийся в Средиземном море, в самом непродолжительном времени признает ее императрицей, что она уже послала в Ливорно воззвание к морякам. Склоняя султана к союзу, принцесса говорила, что Швеция, которой она уступает некоторые из завоеванных у нее провинций, присоединится к их союзу, равно и Польша, которую они сообща восстановят в старинных ее пределах. Под письмом она подписалась: *«вашего императорского величества верный друг и соседка Елизавета»* (De votre majeste imperialc la fidele amie et voisine Elisabeth).

Копия с этого письма к султану послана была принцессой, при весьма приветливом письме, к верховному визирю. Она просила его переслать эту копию к «сыну Разумовского, monsieur de Puhaczew», и оказывать ему всевозможную помощь⁴². Еще не зная, что «любезный братец ее», Пугачев, в это время уже разбитый и по пятам преследуемый Михельсоном, бежал в заволжские степи, где вскоре и выдан был сообщниками своими коменданту Яицкого Городка, «великая княжна Елизавета» посылкой к нему копии с письма своего к султану хотела, вероятно, в самом деле связать предприятие свое с делом самозванца, возмутившего восточные области Европейской России⁴³.

Письма были отправлены в Константинополь. Князь Рад-

⁴² Письмо принцессы к верховному визирю находится теперь у известного пианиста Аполлинария Конте ко го.

⁴³ В то время, как в России, так и за границей, ходили слухи о сношениях турецкого правительства с Пугачевым. Вольтер в письме к императрице Екатерине II (2 февраля 1774 года) говорит, что, по-видимому, Пугачевское возмущение затеяно кавалером Тоттом (который во время войны турок с Россией устраивал им артиллерию, лил пушки, укреплял города и пр.). О сношениях турецких сановников и Тотта с Пугачевым говорилось и в европейских газетах. Екатерина, отвечая Вольтеру (4 марта 1774 года), писала: «Одни только газеты распространяют молву о разбойнике Пугачеве; он не имеет с г. Тоттом ни явного, ни тайного сношения. Я, с своей стороны, презираю как пушки, выливаемые одним из них, так и предприятие другого. Впрочем, Пугачев и Тотт имеют между собой одно общее: один готовит себе петлю из пеньковой веревки, а другой подвергается опасности получить в подарок петлю шелковую». Принцесса, жадно ловившая все газетные новости, знала, конечно, о разглашавшейся поддержке Пугачева турками. Это, вероятно, и подало ей мысль установить сношения с «любезным братцем» через первого сановника Оттоманской империи.

зivil при перемене обстоятельств, не желая компрометировать себя перед султаном и пред лицом всей Европы, приказал находившемуся в Царьграде своему агенту не отдавать по назначению посланий «великой княжны Всероссийской». Она этого не знала и с нетерпением ждала султанского фирмана.

XVII

Принцесса Елизавета, говоря в письме к повелителю Османов, что она послала воззвание к русскому флоту, находившемуся в Ливорно, сказала правду. Действительно, еще за четыре дня до отправления письма к султану (18 августа 1774 года) она набросала мысли для составления воззвания к русским морякам и написала письмо к графу Алексею Орлову. Запечатав то и другое в один пакет, она передала его новому своему любовнику, варварийскому капитану Гассану, который должен был доставить его в Венецию англичанину Монтегю. В письме к сэру Эдуарду Монтегю принцесса просила его доставить прилагаемый пакет графу Орлову и прислать ей денег, в которых она нуждалась. Монтегю взялся исполнить ее поручение относительно пересылки пакета, но денег достать не мог. Отвечая ей, он советовал быть как можно осторожнее с французскими офицерами, находившимися в Рагузе, присовокупляя, что французский резидент при Венецианской республике вдруг переменял тон и стал отзывать о принцессе чрезвычайно странно, и, как кажется, делает это по приказанию Версальского двора.

В «манифестике» (*la petit manifeste*), как называла принцесса бумагу, посланную к графу Орлову, набросаны были мысли, развить которые должен был сам граф Орлов в большом, в официальном, так сказать, манифесте, назначен-

ном для флотского экипажа. Вот этот манифестик: «В духовном завещании императрицы Всероссийской Елизаветы, сделанном в пользу дочери ее Елизаветы *Петровны* (?), сказано: «дочь моя, Елизавета Петровна, наследует мне и будет управлять так же самодержавно, как и я управляла». Принцесса Елизавета не могла доселе обнародовать сего манифеста, потому что находилась в заключении в Сибири, была отравляема ядом, словом, подвергалась тысяче опасностей. Теперь, когда русский народ решился поддерживать законные права наследницы престола, она признала благовременным торжественно объявить, что ей принадлежат права наследия, известные всей Европе. Духовное завещание, на котором основываются эти права, заключает в себе статьи, направленные к благоденствию народа русского. Все верные наши подданные решились принять сторону великой княжны, находившейся в гонении со времени кончины матери ее, покойной императрицы Елизаветы Петровны. Сие и нас побудило сделать решительный шаг, дабы вывести народ наш из настоящих его злключений на степень, подобающую ему среди народов соседних, которые навсегда пребудут мирными нашими союзниками. Мы решились на сие, имея единственную целию благоденствие отечества и всеобщий покой. Божиею милостию, мы, Елизавета Вторая, принцесса Всероссийская, объявляем всенародно, что русскому народу предстоит одно из двух: стать за нее или против нее. Мы имеем все права на похищенный у нас престол и в непродолжи-

тельном времени обнарудуем духовное завещание блаженной памяти императрицы Елизаветы Петровны, и те, которые откажутся принести нам верноподданскую присягу, подвергнутся заслуженному наказанию, на основании законов, постановленных самим народом и восстановленных Петром I, императором всероссийским».

Вероятно, для того, чтобы скрыть до времени от Орлова настоящее свое местопребывание, принцесса под этим документом написала, что он посылается из середины Турции, а в письме сказала, что она находится на турецкой эскадре.

К графу Орлову она писала следующее:

«Принцесса Елизавета всероссийская желает знать: чью сторону примете вы, граф, при настоящих обстоятельствах? Духовное завещание блаженной памяти императрицы Елизаветы Петровны, составленное в пользу дочери ее, цело и находится в надежных руках. Князь Разумовский, под именем Пугачева, находясь во главе нашей партии, благодаря всеобщей преданности русского народа к законным наследникам престола, имеет блистательные успехи. Ободряемые этим, мы решились предъявить права свои и выйти из печального положения, в какое поставлены. Всему народу известно, что принцесса Елизавета была сослана в Сибирь и потом перенесла много других бедствий. Избавясь от людей, посягавших на самую жизнь ее, она находится теперь вне всякой опасности, ибо многие монархи ее поддерживают и оказывают ей свое содействие.

Торжественно провозглашая законные права свои на все-российский престол, принцесса Елизавета обращается к вам, граф. Долг, честь, слава – словом, все обязывает вас стать в ряды ее приверженцев.

Видя отечество разоренным войной, которая с каждым днем усиливается, а если и прекратится, то разве на самое короткое время, внимая мольбам многочисленных приверженцев, страдающих под тяжким игом, принцесса, приступая к своему делу, руководится не одним своим правом, но и стремлениями чувствительного сердца. Она желала бы знать: примете ли вы, граф, участие в ее предприятии.

Если вы желаете перейти на нашу сторону, объявите манифест, на основании прилагаемых при сем статей. Если вы не захотите стать за нас, мы не будем сожалеть, что сообщили вам о своих намерениях. Да послужит это вам удостоверением, что мы дорожили вашим участием. Прямотушный характер ваш и обширный ум внушает нам желание видеть вас в числе своих. Это желание искренно, и оно тем более должно быть лестно для вас, граф, что идет не от коварных людей, преследующих невинных.

Мы находимся в союзе с империей Оттоманскою. Не вдаваясь в подробные рассуждения о нашем предприятии, торжественно, пред лицом всего мира, возвестим о себе, о том, как похитили у нас корону, как хотели погубить нас и как правосудный Бог чудесным образом исхитил нас из рук врагов, посягавших на жизнь нашу. Нужным считаем присово-

купить, что все попытки против нас, которые бы в настоящее время враги наши вздумали предпринять, будут безуспешны, ибо мы безопасны, находясь в Турецкой империи на эскадре его величества султана.

Какое решение примете вы, граф, мы узнаем из реляций, которые будут вами опубликованы. От вас зависит стать на ту или другую сторону, но можете судить, как высоко будем мы ценить заслугу вашу, если вы перейдете в ряды наших приверженцев. Мы бы никогда не решились отыскивать корону, если бы друзья покойной императрицы Елизаветы Петровны не умоляли нас о том. На основании законов, считая себя вправе начать сие предприятие, мы тем паче считаем себя к тому обязанными, что видим несчастье целого народа русского, ввергнутого в бездну злоклучений со времени кончины императрицы Елизаветы Петровны. Вы понимаете, граф, что мы не обязаны писать вам так откровенно, но мы полагаемся на ваше благоразумие и правильный взгляд на вещи. Они убедят вас, что причины, вызвавшие нас к действию, вполне законны и совершенно достаточны для того, чтобы возбудить русских к исполнению их долга перед отечеством и перед самими собой: их святой долг – поддержать права законной наследницы русского престола, которая стремится к нему с единственною целию сделать счастливым страдающий народ свой. Вполне уповаем на успех нашего начинания. Главное сделано, остается лишь торжественно объявить о себе.

Уверенные в вашей честности, граф, имели мы намерение лично побывать в Ливорно, но обстоятельства тому воспрепятствовали. Неоднократно доказанная вами при разных обстоятельствах честность свидетельствует о прекрасном вашем сердце. Подумайте, граф, поразмыслите: если присутствие наше в Ливорно, по вашему мнению, нужно, уведомьте нас о том с подателем этого письма. Он не знает, от кого и откуда привезено им письмо, и потому можете ему доверить ответ, а чтобы не возбуждать его любопытства, адресуйте на имя г. Флотирана – это мой секретарь.

Завещание императрицы Елизаветы Петровны сделано в пользу одной ее дочери, в нем не упоминается о моем брате. Было бы слишком долго объяснять здесь причину этого, достаточно сказать, что он в настоящее время предводительствует племенами, всегда верными законным своим государям и теперь поддерживающими права Елизаветы II.

Время дорого. Пора энергически взяться за дело, иначе русский народ погибнет. Сострадательное сердце наше не может оставаться покойным при виде его страданий. Не обладание короной побуждает нас к действию, но кровь, текущая в наших жилах. Наша жизнь, полная несчастий и страданий, да послужит тому доказательством. Впоследствии, делами правления мы еще более докажем это. Ваш беспристрастный взгляд на вещи, граф, достойно оценит сии слова наши.

Если вы считаете благовременным распространение

сущности прилагаемого при сем манифестика (se petit manifeste), то располагайте им по своему усмотрению, можете в нем прибавлять и убавлять, что хотите, но предварительно разузнайте хорошенько расположение умов. Если сочтете нужным переменить место вашего пребывания, сделайте это, ибо вы лучше знаете обстоятельства, могущие мешать успеху нашего предприятия.

Удостоверяем вас, граф, что, в каких бы обстоятельствах вы ни находились, во всякое время вы найдете в нас опору и защиту. Было бы излишне говорить о нашей к вам признательности: она есть неотъемлемая принадлежность чувствительного сердца. Просим верить искренности чувств наших».

Ни подписи, ни означения места и дня на этом письме не было.

XVIII

Граф Алексей Григорьевич Орлов имел под главным начальством своим русский флот, плававший в Средиземном море под флагом старшего флагмана, контр-адмирала Самуила Карловича Грейга, англичанина. В 1774 году этот флот или, вернее сказать, эскадра стояла на рейде города Ливорно. Здесь жил и Орлов. С 1770 года чесменский герой неоднократно жила в этом городе и имел там большие знакомства, особенно между англичанами. С английским генеральным консулом в Ливорно, сэром Джоном Диком, соплеменником и другом адмирала Грейга, он был особенно в коротких отношениях. Этот Дик оказывал нам большие услуги во время войны нашей с турками и по заключении мира в Кучук-Кайнарджи, по ходатайству Орлова, получил Аннинскую ленту⁴⁴. Орлов жил в Италии по-царски, в его распоряжении находились огромные суммы для ведения военных, дипломатических и других дел. При нем находился огромный штат офицеров, сухопутных и морских, он набирал в русскую службу способных иностранцев, особенно из единоплеменных славян, и по предоставленной императрицей власти производил в чины до штаб-офицерского.

⁴⁴ Единственный пример получения английским подданным русского ордена в XVIII столетии. Получил еще в 1763 г. граф Билау Александровскую ленту, но не как англичанин, а как камергер двора Брауншвейг-Люнебургс ко го.

Незадолго перед тем, как граф Орлов получил пакет от Монтегю, он переехал из Ливорно в Пизу, где и провел всю зиму 1774–1775 года. Ливорно мало представляло удовольствий, а чесменский герой любил пожить на славу. Полученное письмо и приложенный к нему «манифестик» должны были немало его озадачить. Он, по собственным словам его⁴⁵, до тех пор будто бы не знал, что существуют на свете дети, рожденные императрицей Елизаветой от законного брака, и не имел ни малейшего понятия о «всклепавшей на себя имя» принцессы Елизаветы. Более четырех лет не быв в России (он приезжал в Петербург лишь на самое короткое время, во время Фокшанских переговоров), Орлов не знал хорошо обо всем, что делается внутри ее: московский чумный бунт 1771 года, целый ряд самозванцев, принимавших на себя имя Петра III, яицкий бунт, наконец, Пугачев, все это было без него. Проницательный Орлов догадывался, что пугачевский бунт не без связи с враждебными России замыслами некоторых западных держав, и в бытность свою в Петербурге во время начала пугачевщины прямо говорил Екатерине, что «он в подозрении, не замешались ли тут французы», поддерживавшие и поляков. Теперь вдруг получает он письмо женщины, помышляющей о русской короне. Она так положительно уверяет его, что находится в союзе с султаном и имеет пребывание на его кораблях. Орлов узнает из

⁴⁵ «Донесение императрице Екатерине графа Алексея Орлова» от 27 сентября 1774 г.

этого письма, что некоторые государи европейские поддерживают искательницу русской короны, что Пугачев действует в ее пользу, что он не простой казак, а Разумовский. Это невольно должно было озадачить Орлова, хотя он и довольно на своем веку искусился в политических интригах.

Известна деятельность братьев Орловых во время переворота, совершившегося 28 июня 1762 года в Петербурге. Более всех других оказали они усердия при возведении на престол Екатерины. И целые десять лет они были самыми ближайшими ее советниками, были всемогущи, всеисильны. Но кредит их стал падать с 1772 года, когда Алексей находился в Средиземном море, а Григорий отправился с царскою пышностью на конгресс в Фокшаны. Пользуясь их отсутствием, противники их, граф Никита Иванович Панин, Захар Григорьевич Чернышев, князь Федор Сергеевич Барятинский и другие, успели найти соперника Григорию Орлову в лице молодого конногвардейского офицера, Александра Семеновича Васильчикова. Екатерина сделала его камергером и доверенным человеком. Григорий Орлов встревожился, без разрешения оставил конгресс и поскакал в Петербург. Но его не допустили ко двору, и он, под предлогом карантина, должен был жить в принадлежавшей ему Гатчине. Ему предлагали подарки, угрожали мерами строгости, лишили всех должностей, объявили ему повеление отправиться в путешествие. Непреклонный Орлов все отвергал, прося одного: личного объяснения с императрицей. Дело уладилось: он

получил княжеский Римской империи титул и явился при дворе. Но влияние Орловых сильно поколебалось: новопожалованный князь уехал в Ревель и прожил там целый год. Васильчиков был добрый, но весьма ограниченный человек. Хотя он и был послушным орудием в руках выведших его в люди царедворцев, но не мог совершенно уничтожить Орловых. В апреле 1774 года место его заступил Потемкин. Это был не дюжинный человек, как Васильчиков. С первых же дней его возвышения кредит Орловых пал совершенно.

Но противникам Орловых этого было недостаточно, им хотелось совсем доконать их. Стали нашептывать императрице, что Орловы люди опасные, что они куют против нее крамолу и замышляют что-то недоброе. К Алексею Орлову были подсылаемы разные лица, убеждавшие его изменить императрице. Так, в 1774 году, незадолго до получения письма от мнимой великой княжны Елизаветы, он получил письмо от неизвестной госпожи из Пароса, которая хотела увлечь его в измену. Получив от принцессы письмо с приложенным «манифестиком», он мог подумать, что это новый подсыл к нему, направленный врагами его фамилии, что «его хотят пробовать, до чего верность его простирается к особе ея величества», как он выразился в донесении своем к императрице.

Были в то время толки (и до сих пор они не прекратились), будто граф Алексей Орлов, оскорбленный падением кредита, сам вошел в сношения с самозванкой, принял ис-

креннее участие в ее предприятии, хотел возвести ее на престол, чтобы, сделавшись супругом императрицы Елизаветы II, достичь того положения, к которому тщетно стремился брат его вскоре по воцарении Екатерины⁴⁶. Но это не имеет и тени вероятия. Как бы ни был недоволен Алексей Орлов изменившеюся к нему и к брату его Екатериной, он не мог решиться на предприятие, не обещавшее ни малейшего успеха. Если ограниченный «пане коханку» и легкомысленные поляки да не знавшие России иностранцы могли мечтать о возможности достижения принцессой Владимирскою русского престола, то Орлову ли, хорошо знавшему ход дел и расположение умов в России, можно было увлечься до такой степени? Мог ли русский народ признать своею государыней женщину, не знавшую по-русски, «великую княжну», о которой до того никто не слыхивал, ибо ни о браке императрицы Елизаветы, ни о рождении ею дочери никогда не было объявлено, а если и ходили о том слухи, то одни им верили,

⁴⁶ М. Н. Лонгинов в статье своей «Княжна Тараканова», напечатанной в «Русском вестнике», 1859 г., № 24, говорит, будто Алексей Орлов еще в январе 1774 года, то есть за десять месяцев до получения повеления Екатерины захватить самозванку (12 ноября 1774 г.), посылал к ней в Рим офицера Христенека с приглашением приехать к нему и что таким образом он в 1774 году играл в двойную игру. Это несправедливо: в январе 1774 г. принцесса Владимирская находилась еще в Германии, и граф Алексей Орлов еще не имел о ней никаких сведений. Пребывание ее в Риме и сношения с ней Христенека относятся к началу не 1774-го, а 1775 года. Впрочем, г. Лонгинов был введен в заблуждение «Русскою беседой», отнесшею донесение Орлова императрице от 5 (16) января 1775 года к тому же числу и месяцу 1774 года («Русская беседа», 1859 г., № VI, стр. 69).

а другие, составлявшие громадное большинство, или не верили, или вовсе не знали о существовании княжны Таракановой? Всем памятно было объявление в 1742 году наследником русского престола великого князя Петра Феодоровича, которого, до самой смерти Елизаветы, во всех церквах ежедневно поминали на ектениях как ее наследника. Притязаниями своими принцесса Владимирская могла представить затруднения Екатерине, могла даже беспокоить ее, но быть опасною никогда не могла. Не зная по-русски, она бы не могла даже разыграть роли Пугачева. Алексей Орлов хорошо понимал все это и, как скоро получил сведение о существовании самозванки, не дожидаясь повелений из Петербурга, принял меры, чтоб овладеть ею и отправить в Россию. Этим, быть может, он надеялся хотя несколько восстановить свой кредит.

Принцесса написала свой «манифестик» 18 августа (7 по старому стилю). С письмом к Орлову он был отправлен из Рагузы сначала в Венецию, оттуда при удобном случае в Ливорно, из Ливорно в Пизу. Таким образом ранее двадцатых чисел сентября, по старому стилю, Орлов не мог получить письма «великой княжны Елизаветы». Что же он сделал? Тотчас же (сентября 27) отправил и письмо и «манифестик» к императрице.

Вот что, между прочим, он писал при этом случае Екатерине: «Желательно, всемилостивейшая государыня, чтоб искоренен был Пугачев, а лучше бы того, если бы пойман был

живой, чтоб изыскать чрез него сущую правду. Я все еще в подозрении, не замешались ли тут французы, о чем я в бытность мою докладывал, а теперь меня еще более подтверждает полученное мною письмо от неизвестного лица. Есть ли этакая (то есть дочь императрицы Елизаветы) или нет, я не знаю, а буде есть и хочет не принадлежащего себе, то б я навязал камень ей на шею да в воду. Сие же письмо прислано, из которого ясно увидеть изволите желание. Да мне помнится, что и от Пугачева несколько сходствовали в слоге сему его обнародования, а может быть и то, что меня хотели пробовать, до чего моя верность простирается к особе вашего величества. Я ж на оное ничего не отвечал, чтобы через то не утвердить более, что есть такой человек на свете, и не подать о себе подозрения. Еще известие пришло из Архипелага, что одна женщина приехала из Константинополя в Парос и живет в нем более четырех месяцев на английском судне, платя слишком по тысяче пиастров на месяц корабельщику, и рассказывает, что она дожидается меня; только за верное еще не знаю; от меня же послан нарочно верный офицер, и ему приказано с оною женщиной переговорить, и буде найдет что-нибудь сомнительное, в таком случае обещал бы на словах мою услугу, а из-за того звал бы для точного переговора сюда, в Ливорно. И мое мнение, буде найдется такая сумасшедшая, *тогда, заманя ее на корабли, отослать прямо в Кронштадт*, и на оное буду ожидать повеления: каким образом повелите мне в оном случае поступить, то все наиусердней-

ше исполнять буду».

Ясно видно, что план Орлова заманить самозванку на русский корабль и отправить в Кронштадт явился у него при первом известии о ее существовании.

XIX

Отправив к императрице донесение, Орлов послал находившегося в русской службе серба, подполковника графа Марка Ивановича Войновича⁴⁷, на особом фрегате в Парос, поручив ему войти в личные переговоры с таинственной женщиной. Орлов предполагал, что эта женщина есть та самая принцесса, что прислала ему письмо и воззвание к флоту. Он приказал Войновичу, если эта женщина станет называть себя наследницей русского престола, уверить ее в полной готовности Орлова содействовать осуществлению ее планов и просить ее на фрегат, на котором бы она могла отправиться в Ливорно; если же это другая женщина, оставить ее в покое. Войнович застал незнакомку в Паросе и несколько раз виделся с нею. Оказалось, что это была жена какого-то константинопольского купца, женщина заносчивого характера и вздорного нрава, охотно мешавшаяся в дела политической интриги и уверявшая, будто она находится в переписке со всеми европейскими дворами. Она была лично известна султану Ахмету и его предшественнику Мустафе и, пользуясь правом свободного входа в сераль, где продавала султаншам и одалискам французские галантерейные вещи, находилась в связях со всеми государственными людьми Отто-

⁴⁷ Впоследствии он был контр-адмиралом русского флота.

манской Порты. Они давали ей деньги за то, чтоб она, бывая в серале, посредством любимых султанш, поддерживала их кредит у падишаха. Они-то, вероятно, не без ведома самого Ахмета, и послали ее, еще до Кучук-Кайнарджиских переговоров, обольстить Орлова и посредством подкупа увлечь его в измену Екатерине и уговорить передаться с флотом султану. Она сама предложила Войновичу ехать в Ливорно, но он не взял ее. Не она нужна была чесменскому герою.

Не ограничиваясь посылкой Войновича на остров Парос, граф Орлов вскоре по отправлении донесения к императрице, то есть в начале октября 1774 года, послал разведывать о самозванке другого надежного человека. В донесении императрице от 23 декабря он так пишет об этой посылке: «От меня вскоре после отправления курьера ко двору вашего величества послан был человек для разведывания об оном деле, и тому уже более двух месяцев никакого известия о нем не имею, и я сомневаюсь об нем, либо умер он, либо где удержан, что не может о себе известить, а человек был надежный и доказан был многими опытами в его верности». Это был Осип Михайлович Рибас, впоследствии адмирал русского флота и основатель города Одессы⁴⁸. Он был родом испанец, уроженец Неаполя, куда отец его, кузнец, переселился из Барселоны. Молодой Рибас был в неаполитанской службе, но почему-то должен был бежать из Неаполя. В 1772 году

⁴⁸ Это был чрезвычайно тонкий и хитрый человек. Его разумел князь Суворов в известном отзыве своем о Кутузове: «Его и Рибас не проведет».

явился он к графу Алексею Орлову в Ливорно, прося о принятии в русскую службу. Орлов принял его с чином лейтенанта и, заметив в нем большие способности, давал ему важные поручения. Получив поручение отыскать претендентку на русский престол, Рибас разъезжал по Италии и, попав на след ее в Венеции, отправился в Рагузу, но, не застав уже там, поехал по следам ее в Неаполь, потом в Рим, где и открыл местопребывание ее в начале 1775 года.

В декабре приехал к Орлову из Петербурга курьер Миллер. Он привез наставление императрицы, как действовать относительно самозванки. Из объяснения поверенного по делам Рагузской республики с графом Паниным Екатерина уже знала, что самозванка находится в Рагузе. Она сообщила о том Орлову от 12 ноября, приказывая «поймать *всклепавшую на себя имя* во что бы то ни стало». Орлов был даже уполномочен Екатериной подойти к Рагузе с эскадрой, потребовать выдачи самозванки и, если сенат Рагузской республики откажет ему в том, бомбардировать город⁴⁹.

Мы уже упомянули, что канцлер Российской империи, граф Н. И. Панин, с пренебрежением отозвался об искательнице русского престола поверенному по делам Рагузской республики, назвав ее «побродяжкой» и заметив, что не стоит обращать внимания на эту женщину. Так поступил он, без сомнения, по наставлению императрицы Екатерины. Извест-

⁴⁹ Так рассказывал сэр Джон Дик, слышавший это от самого Орлова. Текст письма императрицы графу Орлову от 12 ноября 1774 года неизвестен.

но также, что Екатерина не принимала никаких мер против разглашений иностранных газет о мнимой «великой княжне»: иностранная печать была не опасна; в России в то время, кроме двора и коллегии иностранных дел, никто не выписывал иностранных газет, за исключением разве гамбургских. Екатерина казалась равнодушною, но на самом деле была озабочена новою проделкой своих недоброжелателей. Приказание Орлову «поймать всклепавшую на себя имя во что бы то ни стало» и даже бомбардировать Рагузу служит тому доказательством.

Граф Орлов, получив повеление Екатерины, тотчас же отправил для поисков надежного офицера и еще одного славянина, венецианского подданного. «Ничего им в откровенности не сказано, – доносил он императрице, – а показал им любопытство, что я желаю знать о пребывании *давно мне знакомой* женщины, а офицеру приказано, буде может, и в службу войти к ней или к князю Радзивилу, волонтером, чего для и абшид (отставка) ему дан, чтобы можно было лучше ему прикрыться». К этому граф Орлов прибавил: «А случилось мне расспрашивать одного майора, который послан был от меня в Черную Гору и проезжал Рагузы и дни два в оных останавливался, и он там видел князя Радзивила и сказывал, что *она* еще в Рагузах, где как Радзивилу, так и оной женщине великую честь отдавали и звали его, чтоб он шел на поклон, но оный, услышав *такое всклепанное имя*, поопасся идти к злодейке, сказав притом, что эта женщина плутов-

ка и обманщица, а сам старался из оных мест уехать, чтобы не подвергнуть себя опасности». Орлов, исполняя приказ государыни, хотел отправиться в Рагузу с эскадрой, чтобы потребовать от тамошнего сената, хорошо знавшего решительность действий русского графа, выдачи самозванки, ж и ну шей под покровительством республики, и в случае отказа бомбардировать город. «Если слабое мое здоровье позволит на корабле ехать, – писал он императрице, – то я не упущу сам туда отправиться, чтобы такую злодейку постараться всячески достать». Но вскоре он узнал, что ее с начала ноября в Рагузе более нет.

XX

Еще в августе 1774 года в Рагузе были получены неприятные для тамошней компании известия. Мобюссон, агент князя Радзивила во Франции и Германии, уведомлял, что какие-то письма «пане коханку» вскрыты в Австрии и замыслы его сделались известными. Пришло верное известие о заключении мира между Россией и Турцией. Газеты возвестили о поимке Пугачева. Напрасно принцесса продолжала настаивать, что все это неправда, что это ложные известия, которые с умыслом распускаются ее врагами; наконец и она должна была увериться: во всех европейских газетах напечатаны были известия о мире и совершенном подавлении пугачевского бунта. Ко всему этому в Рагузе оказалось совершенное безденежье и совершенная невозможность отыскать новые денежные средства. Радзивил принцессе денег не давал, у него самого их не было. Обеды графини Пиннеберг прекратились. Ее венецианский гофмаршал, барон Кнорр, и англичанин Монтегю напрасно искали денег у банкиров. Кнорр достал только двенадцать червонцев, с ними отправился в Оберштейн, везя письмо принцессы к Горнштейну, от которого она требовала полторы тысячи червонцев. Но и там денег не нашли. «Горнштейн не хочет иметь с вами никакого дела», – писал ей Кнорр. В Оберштейне между тем носятся самые неблагоприятные слухи о принцессе, возник-

шие вследствие полученных из Рагузы писем о любовных ее связях. Пылкой и никогда не сдерживавшей свою страстную натуру женщине в Рагузе было много соблазна. Там были и «Мосбахский незнакомец» Доманский и варварийский капитан Гассан; в одном из писем к князю Лимбургу она сама писала, что Радзивил у ног ее. Кроме того, целая толпа красивых офицеров польских и французских были к ее услугам. В разных газетах появились известия о любовных похождениях в Рагузе мнимой великой княжны.

Между тем князь Лимбург уединенно жил в Оберштейне, тоскуя по милой очаровательнице. Недостаток денег, а потом неблагоприятные для успеха его возлюбленной известия о Кучук-Кайнарджиском мире удержали его от поездки в Рагузу. Долгое молчание прелестной Алины сокрушало бедного князя. Он писал ей письмо за письмом, настоятельно советуя ей оставить свои замыслы и возвратиться в Оберштейн. Алина не отвечала.

Принцесса с нетерпением ожидала в Рагузе ответов от султана и от графа Орлова, еще довольно дружно живя с Радзивилом и французскими офицерами, а также с консулами французским и неаполитанским. Наскучив ждать, она 11 сентября написала новое письмо к султану, стараясь отклонить его от утверждения мирного договора, еще не ратификованного, и прося о немедленной присылке фирмана на проезд в Константинополь.

Принцесса и это письмо вручила князю Радзивилу для

препровождения по назначению. Радзивил теперь прямо отказался исполнить ее желание, и между ними произошла открытая ссора. Неудачи последних двух месяцев, особенно же заключение Кучук-Кайнарджиского мира и охлаждение нового короля Франции к польскому делу, сильно поколебали неугомонного «пане коханку» и навели уныние на польско-французскую колонию в Рагузе. Ввиду суровой действительности приходилось покинуть обольстительные, блестящие мечты. Недостаток денег, секвестр литовских маетностей, обнаруженные в Австрии посредством перлюстрации политические замыслы Радзивила, появившиеся по этому случаю в газетах статьи, – все это чрезвычайно обескуражило «пане коханку». Теперь он уже помышлял о промене своих литовско-польских имений на германские, чтобы, покинув отечество, сделаться князем Римской империи не по одному титулу, которым Радзивилы пользовались уже более двух веков⁵⁰, но и по владетельным правам⁵¹. Приезжав-

⁵⁰ Германский император Карл V еще в 1547 году возвел Радзивилов в княжеское Римской империи достоинство с титулом герцога Олыкского (herzog von Olyka) для старшего в роде, которым в описываемую эпоху пользовался князь Карл. Радзивилы первые из невладетельных фамилий получили княжеское достоинство Римской империи, если не считать Чарторийских (получили княжеское Римской империи достоинство в 1433 г.), имевших это достоинство по праву происхождения от Гедимины.

⁵¹ Во время пребывания князя Карла Радзивила в Рагузе, младший брат его, князь Иероним, сватался к родственнице князя Лимбурга, принцессе Гогенлоэ-Бартенштейн, причем предполагался промен Лимбургских и Бартенштейнских владений на маетности Радзивилов в Литве. Ни брак, ни промен не состо-

шие в Рагузу из Парижа гости также советовали ему бросить несбыточные замыслы и поселиться в Германии. Бросая политическую интригу, он должен был бросить и созданную этой интригой наследницу всероссийского престола. Поэтому «пане коханку» и отказал ей решительно в отправке нового письма к султану, не делая однако еще совершенного с ней разрыва. Принцесса была больна: ее кипучая деятельность, ее неумеренность в чувственных наслаждениях, огорчения, неудачи – все это расстроило до крайности небогатое ее здоровье. Еще в Венеции открылись у ней несомненные признаки чахотки, морское путешествие в Рагузу еще более расстроило ее здоровье. Она бодрилась, шутила над болезнью, но болезнь брала свое. Принцесса сделалась раздражительна. После сцены с Радзивилом по поводу отказа его отправить письмо в Константинополь она пришла в отчаяние и несколько дней провела в постели, упрекая Радзивила и жалуясь на него окружающим. «Пане коханку», чтоб утешить больную, дал ей слово послать письмо к султану. Но отправив его, по-прежнему известил своего поверенного, чтоб он присланный пакет оставил у себя. Таким образом, ни султан, ни министры Порты не получили посланий, адресованных к ним искательницей русской короны.

Несогласие Радзивила с принцессой увеличивалось с каждым днем. Немало содействовали тому распространявшиеся слухи о любовных связях мнимой великой княжны. Фран-

цузские офицеры, бывшие в Рагузе, получили о ней из Парижа невыгодные известия. Там уже считали ее искательницей приключений. Несмотря на то Радзивил и находившиеся в его свите еще оказывали принцессе глубокое почтение, относясь к ней как к дочери императрицы. К этому, по всей вероятности, времени относится посещение Рагузы русским майором, который, как мы уже видели, сообщил графу Алексею Орлову, что находившиеся там французы и поляки считали самозванку за великую княжну, предлагали ему представиться ей, и что когда он стал называть ее обманщицей, то должен был поскорее оставить Рагузу, дабы избегнуть самых неприятных последствий.

Принцесса не унывала. В письме от 21 сентября она сильно жаловалась князю Лимбургу на резкое обращение с ней Радзивила, но уверяла своего жениха, что успех ее предприятия не подлежит сомнению, что Порта держит ее сторону, что успехи партии ее в России блистательны, и что она, для довершения этих успехов, входит в сношения с королем шведским. Действительно, в начале октября она послала к Горнштейну письмо на имя короля Густава, прося отправить его по назначению. Вместе с тем послано было ею письмо к русскому канцлеру графу Панину. Принцесса, по-видимому, была уверена, что Панин, как один из недоброжелателей Екатерины, не замедлит принять ее сторону. Она начинает письмо заявлением уверенности своей в том, что предприятие ее будет встречено графом с сочувствием, и что успех

ее может отвратить перуны, готовые поразить его. «Вы в Петербурге, – писала она, – не доверяете никому, друг друга подозреваете, боитесь, сомневаетесь, ищете помощи, но не знаете, где ее найти. Можно найти ее во мне и в моих правах. Знайте, что ни по характеру, ни по чувствам я не способна делать что-либо без ведома народа, не способна к лукавству и коварной политике, напротив, вся жизнь моя будет посвящена народу. Знайте и то, что до последней минуты жизни я буду отстаивать права свои на корону». О заключенном с турками мире она замечает русскому канцлеру: «Не стану говорить о заключенном мире, он сам по себе весьма непрочен; вы не знаете того, что я знаю, но благоразумие заставляет меня молчать». В заключение она изъявляет готовность *возвратиться* в Петербург, но с условием, чтоб о приезде ее никому не было известно и чтоб она была безопасна. «Если я не скоро явлюсь в Петербурге, это будет ваша ошибка, граф», – прибавила принцесса и просила его прислать кого-нибудь в Кобленц, где посланный узнает ее адрес. Вероятно, она разумела Горнштейна, который, зная о пребывании ее в Рагузе, мог сообщить адрес ее агенту Панина, если бы тот прислал его.

Судьба писем к королю шведскому и русскому канцлеру была одинакова с судьбой писем к султану. Осторожный Горнштейн не отправил их и уведомил о том князя Лимбурга. С самою принцессой он еще прежде прервал переписку.

В октябре курьер привез письмо к Радзивилу из Констан-

тинополя: мир ратификован. Радзивил, видя, что планы его окончательно рушились, решил вернуться в Венецию. С принцессой произошел у него совершенный разрыв. Созданная польскою интригой, самозванка теперь была не нужна ей. Радзивил бросил завлеченную в сети поляков и иезуитов женщину на произвол судьбы, объявив ей на прощанье, что и второе письмо ее к султану не было отправлено. Свита Радзивила изменила обращение с принцессой: ей более не оказывали великокняжеских почестей, над ней подсмеивались, даже в лицо говорили дерзости. В газетах появились корреспонденции из Рагузы, где рассказывались любовные похождения принцессы; корреспонденции эти не могли принадлежать никому другому, кроме французских и польских офицеров, которые еще так недавно оказывали ей царские почести. Французское правительство, изменившее по заключении Кучук-Кайнарджиского мира политику относительно России, послало запросы в Оберпггейн относительно таинственной незнакомки. Такие же запросы приходили туда и от других дворов. Наконец Версальский кабинет публично отрекся от всякого участия в действиях самозванки, и де-Риво не мог держать ее долее в доме французского консульства в Рагузе. Радзивил уехал в Венецию. «Великая княжна» осталась одна, без всяких средств.

XXI

Князь Лимбург все еще любил очаровательную Алину. Его страсть не охладела ни от беспрестанных измен, ни от скандалов, передаваемых на весь мир посредством газет, ни от неприятных столкновений с правительствами сильных держав, требовавших объяснений о загадочной женщине, так долго гостившей у него в Оберштейне. Даже распространившийся слух о намерении ее выйти замуж за какого-то ничтожного польского шляхтича не поколебал привязанности к ней князя Лимбурга. В то время, как князь Радзивилл бросил «великую княжну» в Рагузе на произвол судьбы, князь Лимбург, еще не зная о плачевной участи своей возлюбленной, писал к ней (от 30 октября) письмо, в котором, напомнив обо всех ее проделках, обвинял ее, что она совершенно расстроила его состояние, навлекла на него презрение всей Европы, так как близкие его к ней отношения сделались всем известными и заставили Версальский кабинет публично отречься от всякого участия в ее действиях. Далее князь Лимбург писал, что ему представлялись весьма выгодные партии, на которые он, по причине связи с нею, не мог изъявить ни согласия, ни отказа, и что до него наконец дошли слухи, что она находится с кем-то в связи и даже располагает выйти замуж. «Я нисколько не думаю мешать вашему счастью, – прибавлял князь, – если только желания

ваши согласны с честью; впрочем, если вы готовы отказаться от своего прошлого и никогда не будете помянуть ни о Персии, ни о Пугачеве, ни о прочих такого же рода глупостях, то есть еще время вернуться ко мне в Оберштейн». Но письмо это не застало уже принцессы в Рагузе. Она села на корабль возлюбленного своего Гассана через четыре дня по отъезде Радзивила. Князь Лимбург, не получив ответа на свое послание, полагал, что возлюбленная его находится в Рагузе, и написал к ней туда (20 декабря) новое письмо, адресуя его, как и прежде: «Ея высочеству принцессе Елизавете». В этом письме он отказывался от всяких на нее прав, так как она надеялась найти счастье в браке с другим, но обещал сохранить к ней непоколебимую дружбу, вполне уверенный, что она его не опозорит. Вместе с тем князь передавал ей, что газеты дозволяют себе унижительные и постыдные выражения о сношениях ее с «Мосбахским незнакомцем», о котором он узнал от его же земляков (поляков), живущих в Пфальце. «Впрочем, я готов допустить, – поспешил оговориться князь, – что и в низших слоях общества можно встретить людей, заслуживающих уважения, и так как избранный вашим сердцем едва ли имеет доказательства на дворянское происхождение, нужные для пожалования его большим крестом ордена «de l'ancienne Noblesse», то я намерен дать ему другой орден, освободив его от платежа установленной пошлины в 300 червонцев. Да послужит это вам доказательством, что я желаю остаться вашим другом. Хотя меня со

всех сторон уговаривали жениться, но я этим советам не последовал». Из тона этого письма ясно видно, что князь Лимбург писал его под влиянием сильного душевного волнения и досады на свою «милую Алину», которая предпочла князю Священной Римской империи безвестного шляхтича Доманского⁵². Он любил ее, кажется, по-прежнему, и хотя намекал в письме, что счастье зависит не от высокого звания (какое она приняла), а от непорочности (от которой она далека), хотя заявлял, что он равнодушно смотрит на различные наименования, какие она принимала, но заключил свое послание уверением, что до самой смерти не перестанет любить ни с кем не сравненную, милую Алину.

Через три дня князь Лимбург снова писал к своей возлюбленной, решившись, кажется, прервать с ней всякие сношения, которые его скомпрометировали, помешали выгодно променять Стирум на радзивиловские имения в Литве и расстроили брак его родственницы с князем Иеронимом Радзивилом. Вероятно, для того, чтобы перо не изменило ему

⁵² Ни Доманский, ни Чарномский не принадлежали к настоящим дворянским польским родам. Эти фамилии, с десятками тысяч других подобных дворянских польских фамилий, получили свое начало в XVIII столетии, когда магнаты вроде «пане коханку» своих лакеев, конюхов, псарей и т. п. прислугу возводили в шляхетское достоинство и таким образом образовали чуть не третью долю нынешнего дворянства Российской империи. Настоящих старинных польских дворянских родов только 877, а теперешних шляхетских родов по меньшей мере 80 тысяч. Все они влекут благородное свое происхождение из кухни, из псарни, из лакейской, в которых на службе ясновельможных панов подвизались их дяди и даже отцы.

при воспоминании о страстно любимой женщине, он поручил написать письмо доверенному своему Гальйо. Оно заключается в одних упреках ее безумию, ее чрезвычайному легкомыслию и неосторожности в переписке, которая могла быть прочтена и послужить поводом к ее обвинению как со стороны поляков, так и со стороны властей. Гальйо именем князя умолял ее как можно скорее сыскать себе надежное убежище в Италии или Германии, прибавляя, что она всегда может рассчитывать на участие князя и возвратиться к нему, *как к отцу*, но ни в каком случае не должна рассчитывать на его деньги.

Этим прекратилась переписка князя Лимбурга с его Алиной.

XXII

Видя замыслы свои разрушенными, покинутая поляками, принцесса все-таки не хотела отказаться от принятой роли. Она пришлась ей по вкусу. «Всклепавшая на себя имя» вздумала достичь русского престола при помощи Ватикана, обещая за то не только сама принять римско-католическую веру, но и ввести ее в России. Она на первый раз надеялась получить посредством этого хорошие деньги, с которыми намеревалась отправиться в Константинополь и оттуда, при помощи турецкого правительства, действовать на Россию посредством воззваний. Мирные отношения, возникшие между Портой и Россией, ее не смущали. Писав к графу Панину, что заключенный мир непрочен, она писала по искреннему убеждению. В это время в Европе многие не верили в его прочность, и поляки, как жившие в Турции, так и бывшие членами генеральной конфедерации, энергически действовали для побуждения Порты произвести новый разрыв с Екатериной и начать новую войну. Мир действительно был непрочен.

Из свиты князя Радзивила только три поляка остались при «великой княжне» в Рагузе: Чарномский⁵³, намеревавшийсяся

⁵³ Чарномский, один из деятельнейших членов польской генеральной конфедерации, еще в 1768 году находился в переписке с Бениславским, Красинским и Потоцким. В 1769 году он перешел с конфедератами из Польши через австрий-

ехать с нею в Константинополь, где надеялся сделаться официальным агентом конфедерации; Ганецкий, бывший иезуит, имевший обширные знакомства в Риме, намеревавшийся провести ее к святейшему отцу и ввести в лоно римской церкви, и наконец – «Мосбахский незнакомец», Доманский,

скую границу и был посылаем Потоцким к сераскиру турецкому и к крымскому хану с просьбой о помощи. Затем он явился в Париже и здесь близко сошелся с Потоцким, который с того времени был постоянным его покровителем, и с Красинским. В феврале 1774 года он был в Вероне у Потоцкого, в мае этого же года Потоцкий и Путкаммер уполномочили его вместе с Каленским (официальным агентом польской конфедерации в турецком лагере) побуждать турок к поданию помощи полякам. При этом велено было ему посоветоваться с князем Радзивилом, находившимся в Венеции и собиравшимся в Константинополь. Потоцкий вручил ему формальные письма конфедерации, за подписями Красинского и Паца (подписаны 15 апреля 1774 года), на имя султана и верховного визиря, и дал от себя рекомендательное письмо к последнему, равно как различные манифесты и другие бумаги. Потоцкий проводил его до Венеции. Здесь и сам Потоцкий и Чарномский, вместе с Радзивилом, представлялись принцессе, как было сказано. Решено было: Чарномскому отправиться вместе с Радзивилом в Константинополь; вместе с ним он и попал в Рагузу. В конце сентября 1774 г. князь Радзивилл посылал Чарномского к Потоцкому в Верону, вероятно, для примирения с конфедерацией, так как у Радзивила с Потоцким возникли перед тем большие разногласия, и для получения чрез то денег, в которых Радзивил начинал нуждаться, а быть может, и для прекращения пронырств Каленского, воспрепятствовавшего высылке султанского фирмана на имя Радзивила. Составитель «Записки о самозванке», напечатанной в «Чтениях», говорит: «Не подлежит сомнению, что Чарномский просил Потоцкого о назначении его вместо Каленского официальным агентом конфедерации в Турции. Еще в Венеции, а еще более в Рагузе, он близко сошелся с принцессой, пользовался ее доверенностью и имел на нее большое влияние». В Константинополь он не попал: он взят был вместе с самозванкой; письмо к султану и другие бумаги были от него отобраны. Они находятся теперь при деле о самозванке.

который не в силах был оставить прекрасную принцессу, в которую был страстно влюблен. Кроме того, у Чарномского и Доманского были и другие расчеты оставаться при «великой княжне»: они дали ей значительные суммы денег, в надежде на ее агатовые копи в Оберштейне, а еще более на сокровища русской короны. Чарномский, которого Потоцкий послал с официальным письмом к султану и верховному визирю от польской конфедерации еще в мае 1774 года, получил для исполнения возложенных на него в Турции поручений весьма значительную сумму денег. Эти-то деньги, по всей вероятности, и выманила у него принцесса. Без денег ему нельзя было ни ехать в Константинополь, ни воротиться к Потоцкому, в Верону: волей-неволей он был прикован к своей должнице. При следствии, произведенном в Петербурге фельдмаршалом князем Голицыным, Доманский дал показание, что самозванка была должна ему значительную сумму, которую отчасти он сам ей дал из своих денег, отчасти же занял в Рагузе, поручившись за нее.

Еще из Рагузы принцесса писала к Монтегию, что намерена достать неаполитанский паспорт и с ним пробраться в Турцию, что заключение мира – чистая ложь, и что приверженцы ее в России (то есть Пугачев) одержали будто бы везде блистательные победы. «Радзивил один виновен в продолжительном и совершенно бесполезном пребывании в Рагузе, – писала она, – это замедление всех привело на край гибели».

Неаполитанский паспорт она, действительно, успела достать, и с ним на корабле Гассана, в сопровождении Ганецкого, Чарномского, Доманского и одной только служительницы Франциски фон-Мешеде, «великая княжна Елизавета» переплыла Адриатическое море и вышла на неаполитанский берег в Барлетте. Отсюда она немедленно отправилась в Неаполь. Здесь она пробыла недолго, жила скромно, нигде почти не показывалась. Недостаток ли денег, усилившаяся ли от морской поездки болезнь, желание ли не возбуждать о себе толков были причиной такого несвойственного ей образа жизни, – наверное сказать нельзя. По всей вероятности, все сказанное вместе заставило расточительную принцессу отказаться на время от открытой и шумной жизни. В Неаполе принцесса познакомилась с английским посланником Гамильтоном и упросила его выхлопотать для нее с спутниками паспорта на проезд в Рим. Гамильтон обратился с просьбой о паспортах к неаполитанскому министру Таннучи и получил их в начале декабря. Получив их, принцесса немедленно оставила Неаполь.

В Риме она называлась польскою дамою знатного происхождения, но слух, что это русская «великая княжна», соблюдающая строжайшее инкогнито, немедленно распространился по городу. Спутники ее почему-то сочли нужным переменить фамилии: Чарномский стал называться Линовским, а «Мосбахский незнакомец» – Станишевским. Ганецкий сделался гофмейстером и капелланом и принимал имев-

ших надобность до принцессы. Сама она вела себя чрезвычайно скрытно, не бывала ни в чьем доме, никому не показывалась, даже в карете ездила по городу не иначе, как с закрытыми стеклами. Аббат Рокотани в одном из писем своих (от 3 января 1775 года) в Варшаву к канонику Гиджиотти, с которым переписывался раз или два в неделю о польских делах, говорит следующее: «Иностранная дама польского происхождения, живущая в доме г. Жуяни, на Марсовом поле, прибыла сюда в сопровождении одного польского экс-иезуита⁵⁴, двух других поляков и одной польской (?) служанки. Она платит за квартиру по 50 цехинов в месяц да 35 за карету; держит при себе одного учителя-поляка, приехавшего с нею, и одного итальянца, нанятого по приезде ее в Рим. Она ни с кем не имеет знакомства и ездит на прогулку в карете с закрытыми стеклами. На квартире ее экс-иезуит дает аудиенции приходящим». Во франкфуртских газетах появилась корреспонденция о переезде принцессы из Рагузы в Рим.

Кроме спутников, прибывших из Неаполя, «принцесса Елизавета» проводила время с духовными только лицами: экс-иезуитами Воловичем и Вонсовичем. Кроме того, часто бывал у нее итальянский доктор Саличетти. Здоровье ее было уже так сильно расстроено, что необходимо было серьезное лечение: она беспрестанно кашляла, и часто с ней случа-

⁵⁴ Орден иезуитов незадолго перед тем был уничтожен папой, потому все члены сего славного своим лицемерием, коварством, злодеяниями и подлостями общества назывались тогда экс-иезуитами.

лись лихорадочные припадки. Чохотка развивалась в ее организме, и смерть уже грозила принцессе. В Рагузе не было порядочных врачей. Приехав в Рим, она вздумала хорошенько заняться своим здоровьем и пригласила Саличетти, пользовавшегося в то время большою известностью. Скромная жизнь принцессы продолжалась однако недолго. Ганецкий, имевший, как мы уже упомянули, обширное знакомство в Риме, достал значительную сумму денег для овечки, которую надеялся привести из мрака греческой схизмы в ограду папской веры. На эти деньги принцесса повела привычную ей блестящую, роскошную жизнь. Серьезное лечение оставлено до поры до времени.

XXIII

Еще в сентябре 1774 года умер папа Климент XIV. Конклав продолжался. Уже несколько месяцев кардиналы сидели взаперти в Ватиканском дворце, избирая из среды своей самозванного Христова наместника. Это представляло сильное препятствие замыслам принцессы: ей нужно было видеться с папой, а папы не было. Даже ни к одному из кардиналов доступ был невозможен. Джуованни-Александро Альбани, кардинал-протектор Королевства Польского, был деканом священной коллегии, и по Риму ходили положительные слухи, что выбор остановится на нем. Принцесса послала с Доманским письмо к этому молодому кардиналу⁵⁵, в котором просила назначить ей время для свидания, но так, чтоб это осталось неизвестным для публики. Доманский не мог пробраться к кардиналу. Тогда принцесса послала в Ватикан Ганецкого, надеясь, что ему, как лицу духовному и притом имевшему большие связи в папской столице, будет несравненно удобнее пробраться к запертому кардиналу, чем «Мосбахскому незнакомцу». Посылая Ганецкого, она приказала ему во что бы ни стало добиться для нее у Альбани дозволения видеться с ним в конклаве. Напрасно уверяли

⁵⁵ Альбани в это время было уже 54 года, – возраст довольно молодой для канديدатства в святейшие отцы. Он сделался кардиналом еще в 1747 году, то есть будучи только двадцати семи лет от рождения.

принцессу, что это невозможно, что кардиналы до избрания папы заперты, что даже к окну конклава не могут приблизиться самые знатные дамы. «Если так, – отвечала принцесса, – сегодня же достать мужское платье; я в нем сама проберусь к кардиналу». Едва успели уговорить ее оставить такое намерение, представляя всю опасность, которой может она подвергнуться, если узнают об этом переодеванье.

В день нового, 1775 года Ганецкому удалось пробраться к одному из окон тех апартаментов Ватикана, в которых заключен был кардинал Альбани. Он передал ему записку от «принцессы Елизаветы». Она извещала кардинала о своем приезде в Рим. Альбани сказал, чтобы Ганецкий обратился к аббату Рокотани, человеку к нему приближенному и занимавшемуся тайною перепиской с Варшавой. Января 3 Рокотани, конечно, по приказанию кардинала, получил от римской полиции извещение, что в доме Жуяни, на Марсовом поле, живет знатная польская дама, недавно приехавшая в Рим, и в тот же день принесли ему приглашение на вечер к графине Пиннеберг. Аббат не замедлил воспользоваться приглашением.

Ганецкий и Станишевский (Доманский) представили аббата графине и немедленно удалились. Они остались вдвоем. «Между нами, – пишет Рокотани, – начался оживленный разговор о политике, об иезуитах (орден которых был уничтожен покойным папой); о них графиня отозвалась не слишком благосклонно, впрочем, говорила больше всего о

польских делах». — «Долго ли вы намерены оставаться в Риме?» — спросил графиню аббат. — «Не знаю, — отвечала она, — я бы желала лично познакомиться с кардиналом Альбани, который, без сомнения, будет папой, но боюсь, что конклав еще надолго замедлится, а состояние моего здоровья не позволяет мне долго оставаться в Риме». Аббат был обворожён умом и обращением графини.

Уходя, он встретился с доктором Саличетти, сообщившим ему, что здоровье графини чрезвычайно расстроено.

Принцесса вручила аббату письмо к кардиналу Альбани. В нем спрашивала его, может ли она во всем довериться Рокотани, сказать ему о своем высоком происхождении и о своих намерениях. При этом она заметила, что положение ее требует самой строгой тайны, что приезд ее в столицу римского католичества может иметь весьма важное для ватиканского двора последствие, ибо ей предназначена провидением корона великой империи, не только для благоденствия многочисленных отдаленных от Рима народов, но и для блага церкви. Кардинал был чрезвычайно заинтересован этим письмом и отозвался об аббате Рокотани как о человеке, заслуживающем совершенного ее доверия. Записка эта была составлена самим Рокотани, и вечером 6 января он лично передал ее принцессе. Но она была больна и не могла беседовать с аббатом. Доманский и доктор сказали ему, что весь день пролежала она в постели, изнуряемая сильным кашлем и лихорадочными припадками. Чахотка развивалась в ней.

На другой день (7 января) поутру Рокотани снова явился к принцессе. Она объявила ему, что оставила прежние планы ехать в Константинополь и из Турции действовать посредством преданной ей партии в России; но решилась отправиться в Польшу, чтобы в Варшаве, соблюдая строжайшее инкогнито, повидаться с королем Станиславом Августом. «В России, – сказала она между прочим аббату, – недавно умер мой наместник (она разумела, конечно, Пугачева, казненно-го через несколько дней после этого разговора), но я возьму часть своего войска для конвоирования и проеду в Константинополь. Я очень больна, но если провидению угодно сохранить дни мои, я достигну престола и восстановлю Польшу в прежних ее пределах, – восстановлю прежде, чем исполнится полгода. Екатерине отдам прибалтийские провинции с Петербургом, с нее будет и этого довольно». Разговорившись о польской конфедерации, принцесса неодобрительно высказалась о князе Карле Радзивиле. «Я его уговаривала помириться с королем Станиславом Августом, – сказала она, – но он меня не послушался, и я в том не виновата, что он остается в раздоре с королем; Огинского успела же я помирить с его величеством»⁵⁶. Этот разговор до такой степени обворожил аббата, что, как сам он пишет, кардинал Альбани должен был обратить его внимание на несообразность в некоторых словах принцессы.

⁵⁶ Огинский действительно в это время, примирившись с королем, ухе воротился в Польшу, но посредничество самозванки, конечно, ее выдумка.

Несмотря на то, что принцесса так сильно увлекла аббата необыкновенным умом своим и любезностью, хитрый итальянец сначала думал, что она изыскивает только средства для получения денег и, рассказывая о русской короне, о своих владениях в Германии, об агатовых копиях в ее Оберштейне, думает об одном: как бы половчее да поскорее выманить у кардинала денег. Но патер Лиадей, служивший некогда офицером в русском войске, утверждал положительно, что он знает принцессу. «Я помню ее, – говорил он, – я видел ее в Зимнем дворце на выходах; ее прочили тогда за голштинского принца, двоюродного брата тогдашнего наследника, а после перемены правительства в 1762 году все говорили, что она уехала в Пруссию». Рокотани вполне поверил Лиадею и сделался ревностным приверженцем принцессы. И она с ним сблизилась: неоднократно жаловалась она аббату на лиц своего придворного штата. Она исключала только Станишевского, то есть Доманского: его она очень хвалила. Вскоре Рокотани заметил нежные отношения искательницы русского престола к этому молодому, страстному человеку. Однажды он, сидя у аббата, распространялся об уме, любезности и красоте принцессы, об ее богатстве и связях, и сказал, что дал ей клятву сопровождать ее повсюду. При этом он дал почувствовать, что со временем, если предприятие принцессы увенчается успехом, ему самому предстоит одно из самых значительных положений в свете. В заключение он высказал аббату желание свое посоветоваться о своем поло-

жении с кардиналом Альбани. Рокотани именем кардинала отклонил это, советовал от себя молодому человеку не увлекаться, указывал ему на бедствия, которым он легко может подвергнуться, если свяжет судьбу свою с судьбой этой женщины.

На следующий день, 8 января, Рокотани опять был у принцессы. Она вручила ему письмо к кардиналу и для сведения копию с писем своих к султану и графу Орлову, не говоря, что до владыки Оттоманской империи ее послания не дошли. В письме к кардиналу, после длинных комплиментов талантам и мудрости его, она выразила соболезнование к несчастному положению Польши. «Оно давно было бы улучшено, если бы в Рагузе не расстроили моих планов. Как скоро я достигну цели, как скоро получу корону, – писала она, – я немедленно войду в сношения с римским двором и приложу все старания, чтобы подчинить народ мой святейшему отцу. Только вам одному решаюсь сообщить эту заветную тайну. Примите в уважение опасное положение, в котором я нахожусь, и поймите, насколько я нуждаюсь в ваших советах и помощи. В настоящую минуту, когда я во что бы то ни стало должна ехать в Польшу, а оттуда в Россию, у меня, к сожалению, недостает наличных денежных средств. Но я не теряю надежды и утешаю себя мыслию, что ваше высокопреосвященство будете избраны в папы».

На другой день, 9 января, принцесса через аббата Рокотани получила ответ кардинала. Он писал, что его чрезвычай-

но занимает все высказанное ею как о Польше, так и о римско-католическом исповедании. «Провидение будет руководить вашими благими намерениями, и если правда на вашей стороне, вы достигнете своей цели», – прибавил к этому кардинал.

Кардиналу желательно было обстоятельно узнать о правах навязавшейся на знакомство с ним русской «великой княжны». Поверенный его аббат сообщил об этом Елизавете, и она обещала доставить копию с духовного завещания своей матери. При этом она показала Рокотани письма к ней князя Лимбурга и министра Горнштейна. Казалось бы, сватовство князя, о котором говорилось в этих письмах, не имело никакого отношения до притязаний ее на императорскую корону, но у нее умысел другой тут был, как увидим впоследствии. «Непременным условием предложенного мне брака с князем Римской империи, – сказала при этом принцесса аббату Рокотани, – поставляли мне переход в римско-католическую веру, но публично отречься от греческого исповедания в моем положении все равно что отречься от прав на русский престол. Если я буду иметь счастье победить врагов моих и получу похищенную у меня корону, непременно заключу конкордат с римским двором и употреблю все возможные для меня средства, чтобы русский народ признал власть римской церкви. Но для успеха дела намерение мое должно быть скрыто от всего света». То же самое писала она и кардиналу. Января 14 принцесса послала к нему обещанную копию с из-

вестного уже нам духовного завещания Елизаветы Петровны и писала: «Наконец я решилась объявить себя из Польши и еду в Клев. Преданные нам войска всего в 50 милях от этого города, и я отправлю их на помощь королю Станиславу Августу. Прежде я долго колебалась: мне казалось удобнее ехать через неаполитанские владения до Тарента, переехать море, высадиться в Албании и оттуда сухим путем пробраться в Константинополь, ибо теперь вся Европа обратила взоры на Турцию, но я убедилась, что ехать через Польшу будет выгоднее». В конце письма принцесса, будто мимоходом, упомянула о надежде занять у графа Ланьяско, посланника Трирского курфюрста, до семи тысяч червонцев и просила кардинала замолвить за нее словечко при свидании с этим посланником. Для этого-то, вероятно, искательница короны, денег и приключений и показывала аббату Рокотани дружескую переписку свою с трирским конференц-министром.

XXIV

Разорвав связи с конфедератами, принцесса, по-видимому, приняла намерение действовать в союзе с другими поляками, с теми, что держали сторону короля Понятовского, и во что бы то ни стало хотела добиться свидания с Станиславом Августом. Зная, что он крайне недоволен разделом Польши, она не сомневалась, кажется, что король и магнаты воспользуются ею, выставят ее против оставшейся без надежных союзников Екатерины и, произведя таким образом в России замешательство, восстановят прежние пределы Речи Посполитой. Екатерина действительно не имела тогда искренно расположенных к ней союзников.

Венский кабинет сильно досадовал на скорое и притом без его посредства заключение Кучук-Кайнарджиского мира; свободное плавание русских кораблей по Черному морю и Архипелагу и независимость кубанских татар, особенно же Крыма, установленные этим миром, немало беспокоили Австрию, ибо она видела, что это ведет к преобладанию России на юге, к явному ущербу государства Габсбургов. Император и прусский король ничего так не желали, как ослабления России, принимавшей грозное положение. Версальский кабинет еще более досадовал на Екатерину за то, что не удалась его козни против России. Султан, возбужденный французами к войне с Екатериной, хотя и поспешил за-

ключить невыгодный для себя мир, но Порта считала этот мир кратким перемирием. Испания последовала за Францией; а шведский король мечтал о балтийском побережье и желал отомстить за Полтаву. Одни только англичане, желавшие усилить свою торговлю с Россией, из расчета держали нашу сторону.

Как ни блистательны были военные действия екатерининских орлов, как ни громки были победы их, как ни много наделали они шума по всей Европе, однако все хорошо понимали, что внутренние силы России крайне истощены. И действительно, непрерывные рекрутские наборы изнурили народ, весь цвет его был отвлечен от сохи и промыслов. Пугачевщина и другие внутренние волнения, беспрестанные пожары, от которых гибли тысячи селений и выгорали целые города, не сообразные с силами податного состояния налоги довели страну почти до нищеты, которую не трудно было заметить сквозь покрывало блеска, славы и роскоши, которое искусная рука Екатерины набрасывала на положение дел. Самое войско, столь грозное для внешних и внутренних врагов, было далеко не в блестящем виде. Дурно одетое, полуголодное, оно страдало от казнокрадства начальников, которому не было пределов. Если Петербург и ликовал при известиях о блистательных победах русского войска, то внутри России, в самой даже Москве мало тому радовались. Недовольство росло с каждым днем. Такое положение дел в России было известно «великой княжне Елизавете». Со всех сторон она

получала о том сведения, по всей вероятности, даже преувеличенные. По свойству своего характера, она, на основании этих известий, вообразила, что теперь, при помощи Польши и других европейских держав, ей легко будет сделаться все-российскою императрицей. Но она не знала того, что поляки, доставлявшие ей сведения о положении России, скрывали положение своего отечества, находившегося еще более в бедственном состоянии, чем Россия. Она не знала, что, посредством своих посланников и штыков своих солдат, Екатерина распоряжается в Польше, как у себя дома. Без Екатерины Понятовскому никогда бы не владеть короной Сигизмундов и Батория, без ее помощи эта корона давно бы слетела с головы его, и, конечно, если бы до императрицы дошли теперь сведения, что он принимает участие в химерических замыслах «всклепавшей на себя имя», он бы ранее положенного судьбой срока лишился государства.

Но этого и в голову не приходило принцессе. Она искала знакомства с польским резидентом в столице католичества, маркизом д'Античи. Сначала он уклонялся от свидания с нею, ссылаясь на свое официальное положение, но аббату Рокотани удалось убедить его познакомиться с претенденткой. Января 16 назначено было свидание в церкви Santa Maria degli Angeli. «Великая княжна» рассказала маркизу о судьбе своей, о плане и намерениях, и он пришел в восхищение от необыкновенного ее ума и любезности. Она просила д'Античи дать ей рекомендательное письмо к королю поль-

скому, но резидент отказался; голосом холодного рассудка советовал он восторженной до экзальтации красавице оставить химерические намерения. Он доказывал ей несбыточность ее планов и сказал, что, нимало не сомневаясь в царственном ее происхождении, он полагает однако, что борьба ее с Екатериной немыслима и что в ее положении лучше всего отыскать надежное убежище, в котором бы могла она безмятежно продолжать жизнь свою. Не понравился принцессе добрый совет маркиза, она написала к нему письмо, исполненное блистательнейшими для Польши политическими соображениями, и обещала золотой век этой стране, если достигнет короны. Польский резидент отвечал принцессе в том же смысле, как говорил в церкви св. Марии, и настоятельно советовал скорей удалиться в скромное уединение и тем избежать вредных последствий, которые он считал неизбежными, если она не покинет своих замыслов. После того она написала к маркизу письмо, в котором говорила между прочим следующее: «В последнее свидание наше я нашла в вас столько благородства, ума и добродетели, что по сию пору нахожусь в океане размышлений и удивления... Но вчера ввечеру получила я множество писем, адресованных ко мне в Рагузу, и в то же время получила известие, что мир не будет ратификован султаном; невозможно вообразить, какие смятения царствуют теперь в Порте. Я намерена обратиться с известным вам предложением к Польше и с тою же целью пошлю курьера в Берлин к королю Фридриху. Для се-

бя я ничего не желаю: хочу достичь одной славы – славы восстановительницы Польши. Средства к этому у меня есть, и я не замедлю доставить его величеству королю Станиславу Августу эти средства для ведения войны против Екатерины. Как скоро он поднимет оружие, русский народ, страдающий под настоящим правлением и вполне нам преданный, соединится с польскими войсками. Что касается до короля прусского, это мое дело: я на себя принимаю уладить с ним соглашение. Курьер, которого я отправляю в Константинополь, поедет через Европу и завезет письмо мое в Берлин. Сама я поеду отсюда также в Берлин и повидаясь с королем прусским. Во время путешествия до Берлина мне будет достаточно времени подумать о моих депешах, которые король Фридрих получит до прибытия моего в его столицу. Из Берлина поеду в Польшу, оттуда в польскую Украину, там и неподалеку оттуда стоят преданные нам русские войска. Здесь никто не будет подозревать, куда я отправляюсь, все будут думать, что я поехала в Германию, в тамошние мои владения. Какой бы оборот ни приняли дела мои, я всегда найду средства воспрепятствовать злу. Небо, нам поборающее, доставит успех, если будут помогать нам; если же я не увижу помощи, оставлю все и устрою для себя приятное убежище». Через день маркиз д'Античи отвечал ей: «Позвольте предложить вам избрать то самое намерение, какое вы высказали в письме вашем ко мне: оставьте всякие политические замыслы и удалитесь в приятное уединение. Всякое другое наме-

решение для людей благомыслящих покажется не только опасным, но и противным долгу и голосу совести, оно может показаться им химерическим или по крайней мере влекущим за собой неизбежные бедствия». При свидании маркиз, кажется, прямо сказал ей, что ни король, ни Речь Посполитая ни в каком случае не согласятся принять участие в ее замыслах. Принцесса долго не отвечала на письмо д'Античи. С лишком через две недели (а в это время, как увидим, у нее уже созрели иные замыслы) она отвечала ему (5 февраля 1775 года), благодарила за совет, хвалила его благоразумие, проницательность, извинялась, что беспокоила его, и обещала удалиться в Германию.

Маркиз д'Античи вежливо поздравил ее с таким решением. Принцесса хитрила: она хотела, чтобы польский резидент уверился сам и передал в Польшу, что она решила уединиться в Оберштейне, между тем как она влеклась по другому пути, приведшему ее к гибели.

XXV

Получив денежные средства, принцесса стала вести в Риме жизнь роскошную, хотя обширных знакомств и избегала. Штат ее увеличился: у нее находилось всякого рода служителей более шестидесяти человек. О ней сильно заговорили в Риме; таинственность, которою принцесса старалась до известной степени окружить себя, только усиливала разнообразные о ней толки. Простолюдины, которым она бросала деньги с истинно царскою щедростью, более всего разглашали, что в папской столице нашла приют русская великая княжна, изгнанница из своего отечества, имеющая право на престол великой северной империи. В те дни, когда усиливавшаяся с каждым днем чахотка позволяла принцессе выезжать, она обозревала картинные галереи и памятники классической архитектуры, которыми так богат Рим. По отзыву Рокотани, несколько раз сопутствовавшего ей при обозрении римских достопримечательностей, она сама прекрасно рисовала и имела обширные познания в архитектуре. Дома она собирала вокруг себя небольшой кружок близких к ней людей, и в это время разговоры о политике перемешивались с милыми, остроумными салонными разговорами, с исполнением замечательными артистами разных музыкальных пьес; сама принцесса прекрасно играла на арфе и каждый раз доставляла гостям своим случай восхищаться ее по-

истине высоким редким искусствам.

Деньги как вода утекали из рук расточительной принцессы. Мы уже не раз говорили о непомерном, не знавшем никаких пределов мотовстве ее, мотовстве, о котором разорившийся ради ее прелестей князь Лимбург не без горького чувства замечал, что всех сокровищ Персии не достанет на удовлетворение всех прихотей его возлюбленной. Средств вскоре оказалось недостаточно. Граф Ланьяско, трирский посланник, ссудил ее только 50 червонцами. Приближенные набирали для нее займы деньги по мелочам. На Ганецкого, занимавшего деньги на короткие сроки, поступило взыскание, и он, боясь личного задержания, принужден был скрываться от заимодавцев. Тогда экс-иезуит стал обращаться с принцессой резко и вместе с собратом своим по ордену Иисусову, Воловичем, распускать слухи об ее любовных похождениях и даже выражать сомнение в действительности царственного ее происхождения. Она прогнала от себя иезуитов, и Ганецкий отдал ее в руки ростовщиков.

Главным источником доходов принцессы в это время служила продажа орденов: даже сам Ланьяско, судя по письму его, дал 50 червонцев за орден. Находясь в самых критических обстоятельствах, принцесса обращалась с просьбой о займе шести или семи тысяч червонцев то к графу Ланьяско, то к маркизу д'Античи, то к кардиналу Альбани, но отовсюду получала отказы, хотя и вежливые. Положение ее сделалось крайне затруднительно. И вдруг неожиданно-негаданно, в

то самое время, как заимодавцы начали уже принимать относительно графини Пиннеберг полицейские меры, является к ней осторожнейший из римских банкиров, англичанин Дженкинс и предлагает ей кредит безграничный.

Недели через две по прибытии в Рим, тщетно отыскивая средств достать денег, принцесса вспомнила об английском посланнике Гамильтоне, который с такою любезною предупредительностью выхлопотал ей в Неаполе паспорт. Она вздумала попросить у него семь тысяч червонцев и для подкрепления своего кредита посвятила его в свои тайны. Декабря 21 послала она к нему длинное письмо, из которого мы сделаем некоторые извлечения: «С первого взгляда на вас, вы показались мне таким благородным, таким образованным человеком, что я невольно почувствовала к вам глубокое уважение, и теперь, нимало не сомневаясь в вашей скромности, решаюсь с вами совершенно откровенно говорить. Не думайте легко о моих предприятиях, помните, что небо, посылающее в иных людях бичей рода человеческого, посылает и таких, которые делаются утешением людей. Я долго колебалась, начинать или не начинать мне предприятие, наконец решилась. Прочтите короткий очерк обстоятельств, приведших меня в здешние края, и изложение причин, побуждающих меня действовать, и тех оснований, которые, надеюсь, дают мне право обратиться к вам с покорнейшею просьбой о паспортах для отъезда в Турцию и рекомендательных письмах к венскому и константинопольскому по-

сланникам английского двора». Далее принцесса рассказывает Гамильтону о Пугачеве (тогда уже привезенном на казнь в Москву), которого однако не называет своим братом, но казаком, мальчиком, вывезенным в Петербург Разумовским, сделавшимся пажом императрицы Елизаветы, получившим блистательное образование в Берлине и теперь предводительствующим преданною ей партией в России. Упомянув о ссылке своей в Сибирь, об отравлении ядом, о воспитании, полученном при персидском дворе, о предложении, сделанном шахом, она говорит о поездке своей в Европу и о решимости, по совету друзей, ехать в Константинополь и там искать покровительства у султана, для чего она и соединилась с князем Радзивилом в Венеции. «Перед отъездом из этого города в Рагузу, – продолжала она, – я познакомилась с Монтегю и воспользовалась советами его благоразумия и прекрасного сердца; он одобрил мои намерения и сделал мне все, что мог бы сделать родной брат. Мы приехали с князем Радзивилом в Рагузу. В ожидании султанского фирмана мы прожили там два месяца и, имея восемьдесят человек свиты, израсходовали все деньги, взятые на проезд. В это время получено было известие о мире, заключенном между Турцией и Россией. Это известие застало нас врасплох: еще за несколько недель перед тем я послала два письма к султану, копию с которых я прилагаю. Я колебалась между страхом и надеждой, настоятельно требовала скорейшей поездки в Константинополь; но денежные средства были истощены,

и приходилось выжидать время. Со всех сторон встречала я препятствия: морские непогоды, суровое время года, медленное доставление писем, которые недель по шести бывали в дороге; надо было решиться на что-либо другое. Князь Радзивил с своею огромною свитой, собранною из разных национальностей, которая ему больше вредила, чем была полезна, отправился в Венецию, а мне расстроенное здоровье несколько недель не позволяло пуститься в море. Наконец я решила ехать в Неаполь. Декабря 7 приехала я в Рим. Здесь дошли до моего сведения разные политические новости и в том числе о ратификации мира, и что Пугачев с каждым днем усиливается. Злые языки недоброжелателей распустили молву, перешедшую и в газеты, будто Пугачев взят, но мы имеем подлинные письма, уверяющие в противном». Затем принцесса поверяет Гамильтону предположения о дальнейших своих действиях, говорит, что намеревается проехать в Константинополь сухим путем через Венгрию, но замечает, что такое путешествие небезопасно: венгерский король Иосиф II находится в союзе с Екатериной, и, проезжая через его владения, она может быть открыта. «Это еще не беда, — замечает принцесса, — но зачем возбуждать любопытство и подвергаться излишним расходам?.. Я в Риме попусту теряю время, но как скоро достигну Константинополя, выйду из нерешительного положения, в которое поставлена благодаря коварной политике. Заключенный мир унижен для Порты. Но я возбужу в ней стремление к спасению ее чести и

к защите законных моих прав. Полагаю, что духовное завещание императрицы Елизаветы сохраняет свою силу. При сношениях с Портой я не забуду интересов вашего двора: ведь английская торговля в Леванте сильно подорвана мирным трактатом, подписанным великим визирем. Заклинаю вас, милорд, сделайте для меня все, что для вас возможно, и верьте, что на всю жизнь я сохраню чувство признательности ко всему английскому народу. Здесь расходы большие, а я не имею денежных средств. Монтегю ссудил меня, сколько ему было возможно, своими деньгами; прилагаю в доказательство одно из его писем. Если б я могла достать взаймы небольшую сумму в 7000 червонцев, я могла бы представить в обеспечение графство Оберштейн в Лотарингии, которое герцог Шлезвиг – Голштейнский, князь и граф Лимбургский, получил от дома Линанж. Войдите в мое положение, господин министр, ваше доброе сердце не позволит вам отказать мне в бумагах, с которыми я везде была бы безопасна. Вот что вы можете сделать несколько себя не компрометируя: снабдите меня паспортом на имя г-жи Вальмод или на имя другой ганноверской подданной. Я знаю по-немецки и немножко по-английски, следовательно, могу убедить всех в тождестве с названным лицом. Напишите в Вену, к находящемуся там министру вашего двора, чтоб он доставил мне средства отправиться в Константинополь. Я сама хотела было отправиться для свидания с вами в Неаполь; но боюсь, что это не понравится вашему превосходительству. В Риме мно-

го англичан, напишите к одному из них, которому бы можно было доверить тайну; через него я буду ожидать ваших добрых советов. Если б я могла поскорее отсюда уехать, то еще до исхода зимы приехала бы в Константинополь, то есть прежде чем войска могут выступить в поход. В настоящую минуту участь моя зависит от вашего превосходительства. Сделаю все, что вы мне посоветуете, и на всю жизнь останусь с искренним чувством уважения».

Гамильтон, получив это письмо, под которым было подписано: «*принцесса Елизавета*», тут только увидел, кому оказал услугу выдачей паспорта в Рим. Опасаясь, чтоб это не скомпрометировало его как в глазах собственного правительства, находившегося с императрицей Екатериной в добрых отношениях, так и в глазах графа Алексея Орлова, с которым сам он был в коротких сношениях, английский резидент решил поправить ошибку. Он отправил подлинное письмо принцессы в Ливорно, к тамошнему английскому консулу сэру Джону Дику, о дружбе которого с Орловым мы уже говорили. Сэр Джон препроводил письмо в Пизу.

Таким образом граф Орлов, уже более трех месяцев напрасно отыскивавший следы самозванки, узнал об ее местопребывании.

В первых числах января 1775 года, по старому стилю, явился к Орлову офицер, которого в ноябре он посылал в Рагузу. Он сказал, что «всклепавшая на себя имя» действительно немало времени жила в Рагузе с князем Радзивил ом,

но уехала вместе с ним в Венецию. Не мешкая нимало, офицер поехал следом, но в Венеции нашел одного Радзивила, принцессы с ним не было. Наконец удалось ему от кого-то узнать, что она проехала в Неаполь. С этою вестью он и приискал в Пизу. На другой день после этого Орлов получил от сэра Дика письмо самозванки на имя Гамильтона и тотчас же послал в Рим своего генеральс-адъютанта Христенека, чтоб он постарался втереться к принцессе Елизавете в доверенность и привезти ее в Пизу. Вот что доносил об этом граф Орлов императрице 5(16) января 1775 года:

«Всемиловнейшая государыня! По запечатании всех моих донесений вашему императорскому величеству, получил я известие от посланного мною офицера для разведывания о самозванке, что она больше не находится в Рагузах, и многие обстоятельства уверили его, что она поехала вместе с князем Радзивилом в Венецию; и он, нимало не мешкая, поехал за ними вслед, но, по приезде его в Венецию, нашел только одного Радзивила, а она туда и не приезжала; и об нем розно говорят: одни, будто он намерен ехать во Францию, а другие уверяют, что он возвращается в отечество. А об ней оный офицер разведал, что она поехала в Неаполь. А на другой день оногo известия получил я из Неаполя письмо от английского министра Гамильтона, что там одна женщина была, которая просила у него паспорта для проезда в Рим, что он для услуги ее и сделал, а из Рима получил он от нее письмо, где она себя принцессой называет. Я ж все оные

письма в оригинале, как мною получены, на рассмотрение вашему императорскому величеству при сем посылаю. А от меня нарочный того же дня послан в Рим, штата моего генеральс-адъютант Иван Христенек, чтоб об ней в точности наведаться и стараться познакомиться с нею; притом, чтоб он обещал, что она во всем может на меня положиться, и, буде уговорит, чтобы привез ее ко мне с собою. А министру английскому я отвечал, что это надобно быть самой сумасбродной и безумной женщине, однако ж притом дал ему знать мое любопытство, чтоб я желал видеть ее, а притом просил его, чтобы присоветовал он ехать ей ко мне. А между тем и кавалеру Дику приказал писать к верным людям, которых он в Риме знает, чтоб и они советовали ей приехать сюда, где она от меня всякой помощи надеяться может. И что впредь будет происходить, о том не упущу доносить вашему императорскому величеству и все силы употребляю, чтоб оную достать, а по последней мере сведому быть о ее пребыванье. Я ж, повергая себя к священным вашим стопам, пребуду навсегда вашего императорского величества, всемилостивейшей моей государыни, всеподданнейший раб, *граф Алексей Орлов*».

Христенек тотчас же поскакал исполнять данное ему поручение и, через два дня по отправлении Орловым донесения в Петербург, был в Риме.

XXVI

В Риме, на Марсовом поле, около дома Жуяни, стал бродить таинственный незнакомец. С большим участием расспрашивал он прислугу о принцессе, занимавшей этот дом, и отзывался о ней с крайнею почтительностию. Это передали принцессе. Она встревожилась. В беседе с аббатом Рокотани она высказала подозрение, что незнакомец, бродящий под ее окнами, тайный агент из Петербурга, и просила передать кардиналу Альбани ее просьбу приказать римской полиции разузнать о нем. Аббат отказался передать это Альбани, говоря, что кардиналу неприлично вмешиваться в такое дело, и посоветовал обратиться лучше к трирскому посланнику. Но граф Ланьяско в это время только что отказал принцессе в деньгах, и она не хотела более обращаться к нему с своими просьбами.

«Я приму этого незнакомца», – сказала она в досаде аббату. И действительно приказала принять к себе бродившего под окнами таинственного человека. Он был допущен к ней и самым почтительнейшим образом отрекомендовался лейтенантом русского флота Иваном Христенеком.

Графиня Пиннеберг приняла его недоверчиво. Она не высказывалась ему и тогда, как Христенек стал уверять «ея светлость» о преданности к особе ее графа Алексея Григорьевича и о живейшем участии, какое он принимает в ее по-

ложении. Она прекратила разговор, заметив, что графу надобно высказываться яснее.

На другой или на третий день является к принцессе англичанин, банкир Дженкинс, предлагая ей сколько угодно денег. Он только что получил об этом поручение из Ливорно от сэра Джона Дика, который, как видно, не замедлил исполнить просьбу графа Орлова. Понятно, что принцесса несказанно обрадовалась такому предложению, вероятно, думая, что Дженкинс явился к ней по поручению Гамильтона. Но когда тот сказал ей, что русский генерал граф Орлов поручил ему открыть кредит графине Пиннеберг, подозрение блеснуло в голове ее, и, несмотря на то, что она крайне нуждалась, сказала банкиру, что не имеет надобности в его помощи.

С улыбкой откланялся ей Дженкинс: он знал, что графиня Пиннеберг разыгрывает комедию, что она вся в руках ростовщиков, что полиция уже начинает предпринимать решительные против нее меры по просьбе кредиторов.

Было над чем призадуматься принцессе. Послав к графу Орлову письмо из Рагузы, она так долго ожидала объявления своего «манифестика» стоявшему на Ливорнском рейде русскому флоту, что наконец, несмотря на всю свою легкомысленность, могла прийти к заключению, что предложение ее отвергнуто Орловым и что ей не только не должно надеяться на него, но следует опасаться всем известной его предприимчивости. Эти опасения, по всей вероятности, и были причиной как холодного приема Христенеку, так и отказа Джен-

кинсу.

Но хитрую принцессу перехитрили. Христенек сообщил графу Орлову о сделанном ему приеме и получил от своего начальника новые наставления. До Орлова дошли верные известия о характере самозванки. «Свойство она имеет отважное, – доносил он императрице, – и своею смелостию много хвалится». Этим-то самым свойством характера принцессы и задумал граф Орлов увлечь ее в расставленные сети. Он не ошибся в расчете.

Января 27 Христенек писал принцессе, что, получив от графа Орлова письмо, о котором нужно переговорить с «ее светлостью», он просит назначить ему день и час приема. Принцесса колебалась. Не отвечая Христенеку, она послала на другой день через аббата Рокотани еще письмо к кардиналу Альбани, прося у него хоть одну тысячу червонцев. Кардинал прислал уклончивый ответ. Полиция между тем грозила. Принцессу хотели завтра или послезавтра арестовать за долги. Денег не было; положение безвыходное; она решилась принять Христенека. Кастера говорит, что при этом свидании Христенек от имени Орлова сказал ей, что граф, признавая ее за дочь Елизаветы Петровны, предлагает ей свою руку и русский престол, на который он возведет ее, произведя в России возмущение, что сделать не трудно, ибо народ недоволен Екатериной⁵⁷. В удостоверение своих слов Христенек показал письмо Орлова; оно было написано по-

⁵⁷ «Histoire de Catherine II», Paris, II, 82.

немецки, чтобы принцесса могла понять его. Она поверила обману и сделала решительный шаг к своей гибели.

Склоняясь на убеждения Христенека, она послала с курьером письмо к Орлову, в котором извещала, что письмо его к лейтенанту дает ей смелость ехать в Пизу и с полной доверенностью вверить ему свою судьбу. «Желание блага России, – прибавляла она, – во мне так искренно, что никакое обстоятельство не в силах остановить меня в исполнении своего долга». В заключение она сказала, что месяца через полтора она ожидает получения значительных сумм, а до тех пор просит снабдить ее 2000 червонцев на поездку, так как скорое свидание с графом в Пизе она считает необходимым. Через день Дженкинс вручил ей 2000 червонцев. Затем он уплатил все ее римские и венецианские долги, на что, по словам польского резидента д'Античи, употреблено было одиннадцать тысяч червонцев.

Января 31 принцесса уведомила кардинала Альбани, что обстоятельства ее изменились, и она дней через десять выезжает из Рима с тем, чтоб оставить мир и посвятить жизнь свою богу. Испрашивая кардинальского благословения на такой подвиг, она просила о возвращении посланных к Альбани документов, но аббат Рокотани сказал ей, что бумаги, для большей безопасности, кардиналом сожжены. Кардинал и принцесса взаимно обманывали друг друга: документы были целы, а она о монастыре и не помышляла. Впрочем, 3 февраля она сама объявила аббату, что отречение ее от света

окончательно еще не решено, но что она на днях уезжает из Рима, по совету графа Орлова, оставляя фамилию графини Пиннеберг, и что вообще дела ее неожиданно приняли очень хороший оборот. Вероятно, по совету Орлова, переданному через Христенека, принцесса никому не сказывала в Риме, никому не писала, что она едет к нему в Пизу и что он принимает деятельное участие в ее предприятии. К д'Античи она написала, что, следуя его совету, она едет в Германию, другим говорила про монастырь. Сами домашние ее не знали наверное об ее намерениях.

Простившись 10 февраля с аббатом Рокотани и сделав ему дорогие подарки, принцесса утром на другой день, под именем графини Селинской, в двух экипажах поехала из Рима. Ее сопровождали Доманский, Чарномский, Франциска Мешедде и несколько слуг. Раздав щедрую милостыню нищим, собравшимся у церкви Сан-Карло, она, при шумных благодарных криках толпы, поехала по Корсо к Флорентийской заставе и выехала из вечного города.

Следом за ее экипажем ехал Христенек.

XXVII

Через четыре дня по отъезде из Рима «принцесса Елизавета», под именем графини Селинской, приехала в Пизу, которою владел тогда сын Марии Терезии, брат императора Иосифа II и сам по смерти его император Священной Римской империи, Леопольд. Угодливый и, казалось, совершенно преданный принцессе лейтенант Христенек подвез ее к роскошному палаццо. Заблаговременно извещенный, что «всклепавшая на себя имя» сама едет в Пизу, граф Алексей Григорьевич Орлов не замедлил приискать ей прекрасное помещение, вполне приличное принятому на себя эту женщину званию. Принцесса расположилась в палаццо с сопровождавшею ее свитой. Следом приехали из Рима остальные служители ее двора. Весь штат этого двора состоял в Пизе из шестидесяти человек, как писал граф Орлов императрице⁵⁸. Граф Алексей Григорьевич не замедлил представиться «принцессе Елизавете». Он обращался с нею почтительно и почтение свое заявлял совершенно как верноподданный. С чрезвычайною заботливостью окружал он ее всеми возможными удобствами, являлся к ней ежедневно не иначе, как в парадной форме и в ленте, не садился перед ней, с поспешностью предупреждал каждое ее желание; да-

⁵⁸ «Донесение графа Орлова императрице» от 14 (25) февраля 1775 года.

же с кавалерами двора принцессы, с Доманским и Чарномским, обходился не только с изысканною любезностью, но даже с глубоким почтением. Принцесса не вдруг однако поверила Орлову свои планы и намерения. Она только рассказала ему, что еще во младенчестве была унесена одним священником и какими-то женщинами из России, что по проискам ее врагов была отравлена, так что рвотными едва успели спасти ее жизнь. Говорила, что она воспитана в Персии, где до сих пор имеет многочисленную и сильную своим влиянием на внутренние и внешние политические дела партию, что по достижении совершеннолетия она уехала в Европу, проезжала при этом через места, населенные татарами, по Волге, была тайно в Петербурге, а оттуда через Ригу проехала в Пруссию. Принцесса рассказывала графу Орлову, что в Потсдаме она виделась с королем Фридрихом и объяснила ему, кто она такая, затем жила в Париже, была знакома с тамошними министрами, но открылась им не вполне, называя себя только «принцессой Владимирской» и умалчивая, что покойная императрица Елизавета была ее матерью. Она рассказывала также, что в Германии коротко познакомилась с некоторыми имперскими князьями, особенно же с курфюрстом Трирским и князем Голштейн-Шлезвиг-Лимбургским, что она не надеется на императора Иосифа II, но вполне рассчитывает на помощь королей прусского и шведского, что с членами польской конфедерации она хорошо знакома и намерена из Италии ехать в Константинополь, чтобы предста-

виться султану Абдул-Гамеду, для чего и послала туда наперед верного человека. Это, – говорила она, – один преданный ей персиянин, знающий восемь или девять языков.

Так рассказывала принцесса графу Орлову, и так Орлов о всем сказанном доносил императрице. Он не упомянул, чтобы принцесса говорила ему что-нибудь про Пугачева, чтоб она сказала ему что-либо о существовании в России преданной ей партии. Вероятно, в это время принцесса Владимирская уже знала, что названный ее «братец» 10 января (ст. ст.) сложил буйную свою голову в Москве на Болоте. О партии в России она не могла распространяться в интимных беседах с графом Алексеем Григорьевичем: Орлов не поляк, не англичанин, не кардинал, он лучше ее самой знал партии, существовавшие тогда в России, ему надобно было называть имена, а кого бы назвала принцесса?

Впрочем, вскоре по арестовании ее, Орлов писал императрице: «Я несколько сомнения имею *на одного из наших во-жжиров*, а легко может быть, что я и ошибаюсь, только видел многие французские письма без подписи, и рука мне знакомая быть кажется». Орлов подозревал Ивана Ивановича Шувалова. Впоследствии к фельдмаршалу князю Голицыну, когда он производил в Петропавловской крепости следствие над «всклепавшею на себя имя», прислана была собственно-ручная записка Шувалова незначительного содержания для сличения почерков. Оказалось, что почерк заподозренного был сходен с почерком князя Лимбурга. Шувалова оставили

в покое, и он вскоре потом воротился в Россию после столь долговременного пребывания в чужих краях.

Орлов так описывал императрице наружность принцессы Елизаветы: «Оная женщина росту небольшого, тела очень сухого, лицом ни бела ни черна, глаза имеет большие, открытые, цветом темно-карие, косы и брови темно-русы, а на лице есть и веснушки. Говорит хорошо по-французски, по-немецки, немного по-итальянски, разумеет по-английски, думать надобно, что и польский язык знает, только никак не отзывается; уверяет о себе, что она арабским и персидским языком очень хорошо говорит... Свойство она имеет довольно отважное и своею смелостию много хвалится».

Отважным свойством этой несчастной женщины и воспользовался граф Алексей Григорьевич, чтобы, во исполнение воли императрицы Екатерины, захватить ее и живую или мертвую привезти в Россию. Весьма вероятно, что Орлов еще прежде получил от кого-нибудь сведения о принцессе, об ее страстной натуре, об ее влюбчивом характере и сильной склонности к чувственным наслаждениям. Граф решился вести с ней игру в любовь, чтоб обыграть легкомысленную красавицу наверняка и увлечь ее в хитро расставленные сети. Граф Алексей Григорьевич был большой мастер играть в любовь и с особенным искусством сыграл задуманную теперь партию.

Ему было в то время тридцать восемь лет, он был красавец и настоящий богатырь. Огромного роста, в плечах, как

говорится, косая сажень, силы необычайной, с приятным, умным, выразительным лицом, чесменский герой был один из красивейших людей своего времени и не мог не произвести сильного впечатления на страстную и все для чувственных наслаждений забывавшую принцессу. Все дотоле пользовавшиеся сердечным ее расположением голландцы, немцы, французы, поляки и алжирцы были пигмеи сравнительно с этим русским могучим богатырем. С первого же свидания она была очарована графом. Он, с своей стороны, прикинулся страстно влюбленным и даже просил руки прекрасной княжны. Благосклонно приняв предложение Орлова, она сказала, однако, что о браке думать пока еще рано, но что, достигнув того положения, которое принадлежит ей по рождению, она непременно сделается его женой. Орлов подарил ей свой портрет, стал выезжать с ней в открытом экипаже, показывал ей достопримечательности Пизы, вместе с ней бывал в опере, на гуляньях и проч. Так продолжалось с неделю. Из Пизы писали в это время в Варшаву, что граф Орлов, выезжая с «знаменитою иностранкой», постоянно обходится с нею чрезвычайно почтительно: ни он и никто из русских не садится в ее присутствии; если же кто говорит с нею, то, кажется, стоит перед нею на коленях. В Пизе в это время жила одна русская красавица Давыдова, находившаяся с Орловым в самых близких отношениях и до приезда принцессы постоянно с ним выезжавшая. Теперь она более

не являлась с ним ни в свете, ни в театре, ни на прогулках⁵⁹. В Пизе открыто говорили, что граф покинул Давыдову, вступив в связь с графиней Селинской.

Эта любовь была последнею любовью принцессы, так много любившей и так часто менявшей сердечные привязанности. Связь ее с Орловым возникла быстро, едва ли не с первого дня личного знакомства, и продолжалась всего одну неделю. В письме к императрице граф Орлов не говорит прямо о своей связи, но выражается так: «Она ко мне казалась быть благосклонною, чего для я и старался пред нею быть очень страстен. Наконец я ее уверил, что я бы с охотой и женился на ней, и в доказательство хоть сегодня, чему она, оболъстясь, более поверила. Признаюсь, всемиловитейшая государыня, что я оное исполнил бы, *лишь только достичь бы до того, чтобы волю вашего величества исполнить*, но она сказала мне, что теперь не время, потому, что еще не счастлива, а когда *будет на своем месте*, тогда и меня сделает счастливым». Затем шутливым тоном Орлов прибавляет о каком-то неизвестном нам случае, когда он еще прежде хотел было подобным же образом, из усердия, жениться на

⁵⁹ Письмо из Пизы от 15 марта 1775 года, найденное в бумагах аббата Рокотани. Г-жа Давыдова, о которой упоминается в этом письме, была, кажется, Екатерина Львовна, жена Александра Николаевича Давыдова. Она урожденная Орлова и едва ли не родственница Чесменскому. Впрочем, Орловы не стеснялись и более близкими узами родства. Известно, как поступил князь Григорий Григорьевич с оною двоюродною сестрой своею, Екатериной Николаевной Зиновьевой. Императрица заставила его потом жениться на ней.

особе, которую называет в письме «в оно время бывшая моя невеста Шмитша». «Могу теперь похвастать, – прибавляет он, – что имел невест богатых! Извините меня, всемилостивейшая государыня, что я так осмеливаюсь писать»⁶⁰.

⁶⁰ Г-жа Шмидт была в 1756 году надзирательницей за живущими во дворце фрейлинами. Может быть, в письме Орлова находится намек на нее или на ее дочь. Граф Орлов-Чесменский был в 1775 году еще холост. Вскоре он женился на Авдотье Николаевне Лопухиной (род. 1762, умерла 1786 г.).

XXVIII

Принцесса была убеждена, что ее любезный граф изменил императрице и вполне сочувствует ее планам. Так искусно умел герой Чесменский притворяться. Христенек также сделался близким человеком к принцессе и прикинулся самым ревностным ее приверженцем. Елизавета теперь не сомневалась более, что как русская эскадра, стоявшая в Ливорно, так и сухопутное войско, бывшее на ней в виде десанта, по влиянию Орлова, по первому воззванию примут ее сторону. Чтоб еще более убедить принцессу в своей преданности, граф Алексей Григорьевич не отказывал ей ни в чем. Стоило только пожелать ей чего-нибудь, тотчас же все исполнялось согласно ее воле. Так, однажды Христенек просил ее похлопотать у Орлова о награждении его полковничьим чином. Хотя Орлов и не имел полномочия производить подчиненных в штаб-офицерские чины, но в угоду принцессе превысил свою власть, и Христенек из рук принцессы получил полковничий патент.

Христенек, по свидетельству самого Орлова, отлично исполнял свою роль, обманывая легкомысленную и доверчивую женщину. «Могу вашему величеству, яко верный раб, уверить, – писал он императрице, – что оный Христенек поступает со всею возможною точностию по моим повелениям и умел удачно свою роль сыграть».

Таким образом принцессу успели завлечь в расставленные сети. Но как овладеть ею, как арестовать ее и отправить в Россию, чтоб исполнить волю императрицы? Это было не очень легко. В Пизе и вообще во владениях тосканских ходили уже слухи, что под именем графини Селинской скрывается дочь покойной русской императрицы, «опасная (?) соперница» Екатерины. Употребить против нее какое-либо насилие на тосканской территории было невозможно: флорентийский двор не дозволил бы этого. Притом у принцессы были истинные приверженцы: Доманский, Чарномский и некоторые из прислуги; они всеми силами воспротивились бы малейшему насилию со стороны графа Орлова. Наконец, иезуиты, принимавшие деятельное участие в создании самозванки, зорко следили за всем, что вокруг нее делается. А хотя орден их и был тогда уничтожен, но они были по-прежнему сильны и по-прежнему способны на все. На открытое сопротивление иезуиты, может быть, и не пошли бы, но защитить принцессу помощью местной полиции, а если нужно, то и употребить против ее врагов яд или кинжал почтенные члены Общества Иисусова были очень способны. Граф Орлов боялся их даже и после ареста принцессы. «Признаюсь, всемилостивейшая государыня, – писал он Екатерине уже по взятии самозванки, – что я теперь, находясь вне отечества, в здешних местах, опасаться должен, чтобы не быть от сообщников сей злодейки застрелену или окормлену... я всего более опасаясь иезуитов, а с нею некоторые были и остались

по разным местам».

Орлову много помог в захвате «всклепавшей на себя имя» новопожалованный аннинский кавалер, сэр Джон Дик, английский консул в Ливорно. Через несколько дней по прибытии принцессы в Пизу Орлов получил от него письмо, в котором сэр Джон извещал графа о каком-то столкновении, возникшем будто бы в Ливорно между английскими и русскими чиновниками. Никакого столкновения не было, письмо сэра Джона Дика нужно было лишь для того, чтоб Орлову можно было показать его принцессе и тем оправдать в глазах ее поспешный его отъезд из Пизы. Когда он показал ей письмо консула и сказал, что личное присутствие его в Ливорно необходимо для устранения столкновений и водворения порядка, принцесса вполне тому поверила. Она спросила своего любезного, надолго ли он ее покидает. Орлов отвечал, что и сам не знает, на сколько времени задержит его в Ливорно неприятное дело и долго ли будет он лишен удовольствия находиться в обществе обворожительной принцессы. Грустно стало ей. Разлуку с милым графом страстная принцесса считала несчастьем. Напрасно умоляла она его не покидать ее, поручить кому-нибудь из доверенных лиц уладить ливорнское столкновение: Орлов был непреклонен. «В таком случае, – решительным тоном сказала принцесса, – и я поеду с вами».

Орлову только этого и хотелось. Принцесса хотела подняться из Пизы всем домом и ехать в сопровождении всех

многочисленных своих слугителей. Но граф Орлов и Христенек стали ее от того отговаривать. «Зачем вам брать с собой всех слугителей? – говорили они. – Ведь мы пробудем в Ливорно лишь несколько дней, а потом опять сюда воротимся». Не подозревая, что ей ставят ловушку, принцесса согласилась не отправляться из Ливорно в дальнейший путь, но возвратиться в Пизу, где в блаженстве взаимной любви жить с любезным графом, сколько проживете я. Поэтому она поехала в Ливорно как на прогулку, взяв с собой только Доманского, Чарномского, камермедхен Франциску фон-Мешед и двух камердинеров, Маркезини и Кальтфингера. Все свои вещи и бумаги она оставила в Пизе. Февраля 19 граф Орлов, вместе с принцессой и ее маленькою свитой, выехал из Пизы налегке. Христенек был с ними.

На другой день их отъезда, февраля 20 поутру, около одиннадцати часов, ординарец Орлова (вероятно, Франц Вольф) приехал к сэру Джону Дику.

– Сегодня к обеду будет у вас граф Орлов с обществом, – сказал немец англичанину, – приготовьтесь принять их.

Англичанин понял, в чем дело. Он немедленно приказал готовить роскошный обед и послал к русскому адмиралу, своему соотечественнику и другу, Грейгу и к адмиральше, жене его, приглашение к обеду. Ординарец отправился к адмиралу с письмом Орлова. Немедленно после того русская эскадра, состоявшая из пяти линейных кораблей и одного фрегата, стала готовиться к смотру.

К обеду приехал Орлов с принцессой и представил ей англичанок, жену консула и адмиральшу Грейг, причем не называл спутницу свою по имени. Хозяин дома и адмирал также были представлены ей. Сэру Джону Дику лицо принцессы показалось знакомым.

– Вы говорите по-английски? – спросил он ее.

– Говорю, но мало, – отвечала принцесса.

Консул, быть может, видал ее где-нибудь в Лондоне и, вероятно, вопросом своим хотел навести ее на этот предмет, но ловкая женщина искусно повела речь о другом, и разговор ее с сэром Джоном перешел к посторонним предметам. За обедом, к которому были приглашены Доманский, Чарномский и Христенек, как граф Орлов, так и английский консул обходились с принцессой чрезвычайно почтительно. Грейг больше молчал. Принцесса была весела, разговорчива, любезна.

Она осталась в доме гостеприимных англичан. Жена консула тотчас же втерлась в ее доверенность, что было не трудно, судя по свойствам характера легкомысленной принцессы. Бессознательно стремившаяся к гибели, несчастная женщина вполне доверилась новой знакомой, открылась ей в любви к Орлову, посвятила ее в свои тайны, рассказала о своих планах, и англичанка, по свидетельству Кастеры и Гельбига, помогала врагам принцессы, питая в ней доверенность и обманчивые надежды⁶¹. Вообще сэра Джон Дик и су-

⁶¹ Castera «Histoire de Catherine II». Paris, an VIII, II, стр. 86. Helbig «Russische Cunstlinge». Tubingen, 1809 г., стр. 250.

пруга его играли в этом деле роль неблагоприятную и совершенно несообразную с званием дипломатического агента посторонней державы. Граф Орлов и другие, находившиеся на русской службе, делали это дело, исполняя волю своей государыни, и действовали во имя блага своего отечества, где принцесса могла произвести некоторые, хотя, конечно, самые незначительные замешательства, но из каких расчетов действовал сэр Джон Дик с своею супругой? Конечно, из-за денег. Мы не знаем, много ли заплатили английскому консулу и чего стоили бриллианты, подаренные его жене. Кастера в своей книге резко порицал поведение сэра Джона Дика, в газетах также указывали на несоответственную его званию роль, но англичанин промолчал. Он не мог, ему нечем было оправдываться. Он только рассказывал впоследствии, будто обманутая при содействии его и Грейга графом Орловым женщина была дочь нюрнбергского булочника. Замечательно, что разглашали об ее происхождении из трактира или пекарни только англичане.

Принцесса возбудила в ливорнском населении общее любопытство и даже симпатию. Народ бегал за нею по улицам. Вечером она была в опере, и взоры всех обратились на красавицу, сиявшую счастьем и довольством⁶². Но это был канун тюрьмы.

Февраля 21 у английского консула был завтрак, предательский завтрак. К нему было приглашено многочислен-

⁶² Castera, 86.

ное общество англичан, живших в Ливорно, спутницы принцессы, Доманский, Чарномский и Христенек. Принцесса была царицей праздника, все обращались с ней как с особой царственного происхождения; жена консула и адмиральша Грейг всячески старались угодить ей. Орлов не отходил от предавшейся ему беззаветно красавицы и, обращаясь к ней с утонченною вежливостью, с верноподцанскою преданностью, от времени до времени бросал страстные взоры на свою обреченную жертву. Принцесса была необыкновенно весела, она утопала в счастье. За завтраком зашла речь о флоте. Елизавета сама изъявила желание посмотреть на русские корабли. Граф Орлов отвечал, что желание ее может быть исполнено тотчас же, что он для ее удовольствия прикажет кораблям произвести маневры, чтоб она могла составить некоторое понятие о морских сражениях, словом, наобещал такое множество самых любопытных вещей, если она удостоит адмиральский корабль своим посещением, что и не такая женщина, как принцесса, ни на минуту не задумалась бы над тем, принять или не принять такое любезное предложение. Притом же принцесса Елизавета считала русскую эскадру уже как бы ей принадлежавшею и потому с радостью согласилась на предложение графа Орлова.

Адмирал Грейг немедленно велел готовить шлюпки. После завтрака веселое общество отправилось на рейд. В одной шлюпке поехала принцесса с дамами (женой консула и адми-

ральшей⁶³), в другую сели Орлов и Грейг, в третью вся приехавшая с принцессой в Ливорно ее свита. Кроме названных лиц, в каждой шлюпке находились еще другие, завтракавшие у консула. Христенек был в числе их.

Еще принцесса с обществом находилась в доме английского консула, как весть о предстоящем посещении эскадры русскою великою княжной разнеслась по городу. Корабли и фрегат расцвелились флагами, флотские и сухопутные офицеры надели парадные мундиры, принарядились и матросы, готовясь к большому смотру.

Чуть не все население Ливорно высыпало на набережную или разместилось на шлюпках в ожидании какого-нибудь необыкновенного зрелища. Граф Орлов был хорошо известен ливорнцам за великого мастера устраивать великолепные и чудовищно дорогие спектакли. Все помнили, как года три перед тем он для одного итальянского художника устроил такой спектакль, подобного которому не представляют летописи европейских флотов. Граф Орлов заказал картину Чесменского боя, и для художника, взявшегося нарисовать ее, на Ливорнском рейде были представлены разные эволюции. Была сильная пушечная пальба, ломка мачт и такелажы, — все это сделано было для того, чтобы дать живописцу понятие о морской битве. Но на картине надо было на-

⁶³ Так говорят Кастера, Гельбиг и другие. Сэр Джон Дик впоследствии рассказывал, будто ни жена его, ни адмиральша не участвовали в этой предательской поездке.

рисовать и горевшие турецкие корабли и взрывы их. Чтоб и о них дать понятие художнику, граф Орлов приказал взорвать порох на одном из линейных кораблей русской эскадры и потом сжечь остатки этого корабля, еще годного к употреблению и далеко еще не выслужившего срока. Такая потеха обошлась русскому казначейству, может быть, не в одну сотню тысяч рублей, не говоря о том, что при взрыве погибло несколько матросов. Зато граф Орлов был польщен итальянскими ласкателями, сравнивавшими его в подносимых стихотворениях с самим Александром Македонским, сожегшим также с эстетической целью город Вавилон (?). И теперь жители Ливорно ожидали какого-нибудь необычайного, небывалого зрелища. Густая толпа покрывала улицы и набережную при проезде принцессы к рейду. Ее приветствовали радостными кликами. Ждали великолепного спектакля, и спектакль действительно был представлен чесменским героем, но совершенно в другом роде, чем тот, за который он удостоился сравнения с величайшим героем древнего мира.

На кораблях заиграла музыка, раздались пушечные выстрелы. То был царский салют. Матросы стояли на реях и громко кричали «ура». Принцесса была в восхищении: мечты ее осуществлялись. Русские залпы, русское «ура» приветствовали внучку Петра Великого, внучку создателя русского флота! С адмиральского корабля «Трех иерархов» спустили покойное кресло и на нем подняли принцессу на палубу. Это сделано было для нее одной, и ей объявили, что это знак осо-

бенной почести. Контр-адмирал Грейг принял принцессу с изъявлениями глубокого почтения. Идя под руку с графом Орловым, она приветствовала офицеров, представляемых ей адмиралом, ласково кланялась матросам. «Ура» не умолкало на эскадре.

Обойдя палубы корабля, принцесса введена была в адмиральскую каюту. Здесь подали роскошный десерт.

Наполнились кубки, и все общество пило здоровье принцессы Елизаветы. Начались маневры, все вышли на палубу, подле принцессы стояли в почтительном отдалении граф Орлов, Грейг, Христенек и дамы. Елизавета стояла у самого борта и с увлечением смотрела на маневры. Долго смотрела она и молчала...

Вдруг слышит, что подле нее кто-то повелительным голосом требует у Христенека, Доманского и Чарномского их шпаги. Принцесса оглянулась: перед ней стоял гвардейский капитан Литвинов, объявлявший ее спутникам арест. Ни Орлова, ни Грейга, ни дам, приехавших с принцессой, на корабле не было. Вместо их стояли вооруженные солдаты. Таков был блистательный спектакль, устроенный на корабле «Трех иерархов» усердием и ревностью графа Алексея Григорьевича Орлова.

– Что это значит? – строгим голосом спросила принцесса у Литвинова.

– По именному повелению ее императорского величества вы арестованы, – отвечал капитан.

– Где граф Орлов? – вскрикнула принцесса.

– Арестован по приказанию адмирала.

Принцесса лишилась чувств. Ее взяли под руки и отвели в каюту вместе с Франциской фон-Мешеде. Камердинер Маркезини оставлен был при ней для прислуги.

Доманский, Чарномский, Христенек и другой камердинер, Кальтфингер, были арестованы и перевезены на другой корабль⁶⁴.

⁶⁴ По другим известиям, принцесса в Пизе решилась вступить в брак с графом Орловым, но так как в этом городе не было православного священника, то она и согласилась на предложение жениха ехать в Ливорно и там обвенчаться на адмиральском корабле, где была церковь.

XXIX

Опомнившись в каюте, принцесса принялась за письмо к адмиралу Грейгу. Оно было написано резко. Графиня Селинская протестовала против учиненного над нею насилия, требовала немедленного освобождения и отчета в поступке адмирала. Грейг не удостоил ее ответом, на словах велел сказать, что, арестуя ее, он повиновался высочайшей воле.

Тогда принцесса написала письмо к графу Орлову. Выражая удивление, для чего он, так часто уверявший ее в верности и преданности до гроба, незаметно удалился от нее в то именно время, когда приготавливались взять ее под стражу, она звала его к себе, чтоб объяснить ей все случившееся с нею. Она прибавила, что посещение графа будет для нее большим утешением. «Я готова на все, что ни ожидает меня, – писала она, – но постоянно сохраню чувства мои к вам, несмотря даже на то: отняли вы у меня навсегда свободу и счастье, или еще имеете возможность и желание освободить меня от ужасного положения»⁶⁵. Письмо было отправлено тайным путем (так казалось принцессе, действительно же сам Грейг передал его Орлову).

⁶⁵ Это письмо, равно как и письмо принцессы к адмиралу Грейгу, были препровождены к производившему следствие фельдмаршалу князю Голицыну, но, по неизвестной причине, уничтожены. Их при деле нет, а сохранилось только извлечение из них, составленное князем Голицыным.

Тем же путем принцесса получила и ответ, написанный Орловым по-немецки: «Ах! в каком мы несчастий, – писал он, – но не надо отчаиваться, будем терпеливы: всемогущий Бог не оставит нас. Я нахожусь в таком же печальном состоянии, как и вы, но преданность моих офицеров подает мне надежду на освобождение. Адмирал Грейг, по дружбе своей, давал было мне возможность бежать. Я спрашивал его, что за причина поступка, сделанного им. Он сказал, что получил повеление и меня, и всех, кто при мне находится, взять под стражу. Я сел в шлюпку и проплыл было уже мимо всех кораблей. Меня не заметили. Но вдруг увидел я два корабля перед собой и два сзади, все они направлялись к моей шлюпке. Видя, что дело плохо, я велел грести изо всех сил, чтоб уйти от кораблей; мои люди хорошо исполнили мое приказание, но один из кораблей догнал меня, к нему подошли другие, и моя шлюпка была окружена со всех сторон. Я спросил: «Что это значит? Пьяны, что ли, вы?» Но мне очень учтиво отвечали, что они имеют приказание просить меня на корабль со всеми находившимися при мне офицерами и солдатами. Когда я взошел на борт, командир корабля со слезами на глазах объявил мне, что я арестован. Я должен был покориться своей участи. Но надеюсь на всемогущего Бога, он не оставит нас. Что касается адмирала Грейга, он будет оказывать вам всевозможную услужливость, но прошу вас, хотя на первое только время, не пользоваться его преданностию к вам; он будет очень осторожен. Мне остается просить вас, чтобы вы

берегли свое здоровье, а я, как только получу свободу, буду искать вас по всему свету и отыщу, чтобы служить вам. Только берегите себя, об этом прошу вас от всего сердца. Ваше письмо я получил, ваши строки я читал со слезами, видя, что вы меня обвиняете в своем несчастье. Берегите же себя. Предоставим судьбу нашу всемогущему Богу и вверимся ему. Я еще не уверен, дойдет ли это письмо до вас, но надеюсь, что адмирал будет настолько любезен и справедлив, что передаст его вам. От всего сердца целую ваши ручки». Подписи нет. Граф Орлов не считал нужным подписывать письмо, адресованное к обманутой им жертве. Он боялся. Впрочем, граф Алексей Григорьевич тотчас же донес об этом письме императрице: «У нее есть и моей руки письмо на немецком языке, – писал он, – только без подписания имени моего, что я постараюсь выйти из-под караула, а после могу спасти ее».

Несчастливая женщина во всем поверила любимому человеку. Нетерпеливо, с часу на час, с минуты на минуту ждала она его появления. Принцесса верила в любовь Орлова; мысль о предательстве, совершенном столь близким ей человеком, не могла прийти ей в голову. Она ждала, она надеялась, она даже повеселела в своем заключении. Граф Алексей Григорьевич в немногие дни хорошо изучил ее характер. Подавая ей надежду на спасение, он больше всего в письме своем упрашивал ее, чтоб она берегла здоровье. Женщина с таким характером, как принцесса, находясь в безвыходном положении, непременно наложила бы на себя руки, если б

ей не была подана надежда на освобождение. А самоубийство ее было не в планах Орлова и Грейга: хотелось им доставить ее в Кронштадт живою и отдать в руки Екатерины, разгневанной дерзостью женщины, «всклепавшей на себя имя» и осмелившейся оспаривать у ней право на русскую корону.

Во время корабельных маневров, отойдя незаметно от принцессы вместе с дамами и Грейгом, граф Орлов приказал арестовать свою любезную вместе с ее свитой, а для уверенности обманутой в истине роли, которую теперь разыгрывал, и Христенека, остававшегося на ее глазах. Сам же, возвратившись в Ливорно, отправил в Пизу надежных людей, чтобы они забрали бумаги и другое имущество графини Селинской и распустили ее свиту. Посланные, приехав в Пизу, объявили от имени графини, что им поручено расплатиться с прислугой и распустить ее, а вещи ее отвезти в Ливорно. Это было сделано с большою поспешностью. Еще до Пизы не успела достигнуть весть об арестовании принцессы, как ее служители, за исключением только троих, с русскими деньгами в карманах, оставили палаццо, занимаемое графиней Селинской, а бумаги и вещи ее отправлены в Ливорно и перевезены на адмиральский корабль. Трое из прислуги: Рихтер, Лабенский и Анчиотти объявили, что они не могут отдать вещи графини и ее спутников (Доманского и Чарномского) иначе, как услышав личное их приказание. Честных слуг взяли в Ливорно, вместе с вещами перевезли на корабль и там арестовали.

В числе бумаг захвачены были и бумаги польской генеральной конфедерации, находившиеся у Чарномского.

Задержание принцессы произвело сильное негодование во всем населении Ливорно. Только что приехавшая вчера в город красавица, сделавшаяся предметом народной симпатии, принцесса, которой в виду всего населения воздавались царские почести, вдруг очутилась под стражей, захваченная предательскою изменой. Простой народ энергически грозил русским, сам Орлов считал себя небезопасным. В продолжение двух дней русские корабли стояли на Ливорнском рейде, толпы любопытных подъезжали к ним на лодках, но солдаты, расставленные по бортам, кричали, чтоб они не приближались, угрожая в противном случае выстрелами. Некоторые из любопытных успели, однако, подъехать довольно близко к кораблю «Трех иерархов» и в окне каюты видели отчаянное лицо пленницы. Раздражение народа было не менее сильно и в Пизе и во Флоренции. Поступок графа Орлова считали нарушением международного права. Известный немецкий писатель Архенгольц приехал в Ливорно через несколько дней после арестования принцессы и отхода русской эскадры и еще застал весь город в сильном волнении по поводу захвата *знатной дамы*, которую город Ливорно считал своею гостьей. Тосканский двор был сильно раздражен поступком Орлова⁶⁶. Говорят, великий герцог Леопольд протестовал против совершенного на его территории наси-

⁶⁶ Archenholz. «England und Italien Leipzig», 1787, IV, 157–158.

лия. Русское правительство не отвечало.

Граф Орлов, более всего заботясь, чтобы захваченная им женщина была доставлена в Россию живою, независимо от письма своего к ней, в котором увещевал беречь здоровье, приказал адмиралу Грейгу иметь о пленнице всевозможное попечение. Здоровье несчастной было, как мы уже упоминали, крайне расстроено, заключение под стражу, конечно, должно было усилить чахотку, уже разрушавшую ее организм. Заботливый Орлов назначил к ней особого врача, который должен был по несколько раз в день посещать больную. На другой же день по арестовании ее на корабле «Трех иерархов» граф Орлов был у сэра Джона Дика и, как говорил впоследствии этот англичанин, находился в самом тревожном состоянии. Он просил у своего приятеля книг, достал их еще где-то и порядочный запас для чтения отправил от своего имени на корабль к пленнице. Во время плавания до английских берегов принцесса развлекалась в своем невольном уединении чтением книг, доставленных столь заботливым о ней графом, а потом, когда поняла свою участь, пришла в отчаяние и уже не брала книг в руки.

Граф Алексей Григорьевич распорядился также, чтобы во время остановок эскадры в иностранных портах особенно строго наблюдали за пленницей. Он боялся, чтобы она не ушла или кто-либо из арестованных с нею не передал кому-нибудь письма. По приезде в Кронштадт, Грейг никому не должен был сдавать пленницу без именного указа за соб-

ственноручным подписом императрицы.

Февраля 26 (старого стиля) 1775 года русская эскадра вышла в море. Сам Орлов впоследствии отправился в Россию сухим путем. Он боялся долго оставаться в Италии, где все были раздражены его предательством. Он боялся отравы иезуитов, боялся, чтобы кто-нибудь из приверженцев принцессы не застрелил его, и решился оставить Италию без разрешения императрицы, донеся, впрочем, ей предварительно, что оставляет команду для спасения своей жизни.

Христенек сутки просидел под арестом. Затем граф Орлов отправил его в Петербург накануне отплытия кораблей из Ливорно. Он послал с ним к императрице донесение, *черновое*. Орлов опасался, чтобы Христенека не захватили где-нибудь с бумагами. Подробности захвата приказано было ему передать государыне на словах. Сообщаем здесь вполне донесение графа Орлова, из которого выше приведены некоторые отрывки:

«Угодно было вашему императорскому величеству повелеть: доставить называемую принцессу Елизавету, которая находилась в Рагузах. Я со всеподданническою моею рабскою должностию, чтоб повеление вашего величества исполнить, употреблял все возможные мои силы и старания, и счастливым себя почитаю, что мог я оную злодейку захватить со всею ее свитою на корабли, которая теперь со всеми с ними содержится под арестом на кораблях, и рассажены по разным кораблям. При ней сперва была свита до шестиде-

сяти человек; посчастливилось мне оную уговорить, что она за нужное нашла свою свиту распустить; а теперь захвачена она, камермедхен ее, два дворянина польских и несколько слуг, которых имена при сем прилагаю. Для одного дела и для посылки употреблен был штата моего генеральс-адъютант Иван Христенек, которого с оным моим донесением к императорскому величеству посылаю и осмелюсь его рекомендовать, и могу вашему величеству, яко верный раб, уверить, что оный Христенек поступал со всею возможною точностию, по моим повелениям, и умел удачно свою роль сыграть. Другой же употреблен к оному делу был Франц Вольф. Хотя он и не сделал многого, однакож, по данной мне власти от вашего императорского величества, я его наградил чином капитанским за показанное им усердие и ревность к высочайшей службе вашего императорского величества, а из других, кто к оному делу употреблен был, тех не оставляю деньгами наградить. Признаюсь, всемилостивейшая государыня, что я теперь, находясь вне отечества в здешних местах, опасаться должен, чтобы не быть от сообщников сей злодейки застрелену или окормлену. Я ж ее привез сам на корабли на своей шлюпке и с ее кавалерами, и препоручил над нею смотрение контр-адмиралу Грейгу, с тем повелением, чтоб он всевозможное попечение имел о ее здоровье, и приставлен один лекарь; берегся бы, чтоб она, при стоянии в портах, не ушла, тож никакого письмаца никому не передала. Равно велено смотреть и на других судах за ее сви-

тою. Во услужении же оставлена у ней ее девка и камердинер. Все ж письма и бумаги, которые у ней находились, при сем на рассмотрение посылаю с подписанием нумеров: я надеюсь, что найдется тут несколько польских писем о конфедерации, противной вашему императорскому величеству, из которых ясно изволите увидеть и имена их, кто они таковы. Контр-адмиралу же Грейгу приказано от меня, и по приезде его в Кронштадт, никому оной женщины не вручать без особенного именного указа вашего императорского величества. Она ж женщина росту небольшого, тела очень сухого, лицом ни бела, ни черна, глаза имеет большие и открытые, цветом темно-карие, косы и брови темно-русы, а на лице есть и веснушки; говорит хорошо по-французски, по-немецки, немного по-итальянски, разумеет по-английски; думать надобно, что и польский язык знает, только никак не отзывается; уверяет о себе, что она арабским и персидским языком очень хорошо говорит. Я все оное от нее самой слышал; сказывала о себе, что она и воспитана в Персии и там очень великую партию имеет; из России же унесена она в малолетстве одним попом и несколькими бабами; в одно время была окормлена: и не скоро могли ей помощь подать рвотными. Из Персии же ехала через татарские места, около Волги; была и в Петербурге, а там, чрез Ригу и Кенигсбург, в Потсдаме была и говорила с королем Прусским, сказавшись о себе, кто она такова; знакома очень между имперскими князьями, а особливо с Трирским и с князем Голштейн-Шлезвиг или

Люнебургским (sic); была во Франции, говорила с министрами, дав мало о себе знать; венский двор в подозрении имеет; на шведский и прусский очень надеется: вся конфедерация ей очень известна и все начальники оной; намерена была отсель ехать в Константинополь прямо к султану; и уже один от нее самый верный человек туда послан, прежде нежели она сюда приехала. По объявлению ее в разговорах, этот человек персиянин и знает восемь или девять языков разных, говорит оными всеми очень чисто; я ж моего собственного о ней заключения, потому что не мог узнать в точности, кто она действительно (sic). Свойство она имеет довольно отважное и своею смелостию много хвалится: этим-то самым мне и удалось ее завести, куда я желал. Она ж ко мне казалась быть благосклонною, чего для я и старался пред нею быть очень страстен. Наконец я ее уверил, что я бы с охотою и женился на ней, и в доказательство хоть сегодня, чему она, обольстясь, более поверила. Признаюсь, всемилостивейшая государыня, что я оное исполнил бы, лишь только достиг бы до того, чтобы волю вашего величества исполнить; но она сказала мне, что теперь не время, потому что еще не счастлива, а когда будет на своем месте, тогда и меня сделает счастливым. Мне в оно время и бывшая моя невеста Шмитша. Могу теперь похвастать, что имел невест богатых! Извините меня, всемилостивейшая государыня, что я так осмеливаюсь писать, я почитаю за должность все вам доносить так, как перед богом, и мыслей моих не таить. Про-

шу и того мне не причесть в вину, буде я по обстоятельству дела принужден буду, для спасения моей жизни и команду оставя, уехать в Россию и упасть к священным стопам вашего императорского величества, препоручая мою команду одному из генералов, по мне младшему, какой здесь налицо будет. Да я должен буду и своих в оном случае обманывать и никому предстоящей мне опасности не показывать: я все больше опасаюсь иезуитов, а с нею некоторые были и остались по разным местам. И она из Пизы уже писала во многие места о моей к ней привязанности, и я принужден был ее подарить своим портретом, который она при себе имеет, а если захотят и в России мне недоброхотствовать, то могут поэтому придраться ко мне, когда захотят. Я несколько сомнения имею на одного из наших вояжиров, а легко может быть, что я ошибаюсь, только видел многие французские письма без подписи, и рука мне знакомая быть кажется. При сем прилагаю полученное мною одно письмо из-под аресту, тож какое она писала и контр-адмиралу Грейгу, на рассмотрение. И она по сие время все еще верит, что не я ее арестовал, а секрет наш наружу вышел. Тож у нее есть и моей руки письмо на немецком языке, только без подписания имени моего, и что я постараюсь выйти из-под караула, а после могу и ее спасти. Теперь не имею времени обо всем донести за краткостию время, а может о многом доложить генеральс-адъютант моего штаба. Он за нею ездил в Рим, и с нею он для виду арестован был на одне сутки на корабле. Флот, под коман-

дою Грейга, состоящий в пяти кораблях и одном фрегате, сейчас под парусами, о чем дано знать в Англию к министру, чтоб оный, по прибытии в порт английский, был всем от него снабжен. Флоту ж велено, как возможно, поспешать к своим водам. Всемилостивейшая государыня, прошу не взыскать, что я вчерне мое доношение к вашему императорскому величеству посылаю; опасаюсь, чтобы в точности дела не проведали и не захватили курьера и со всеми бумагами. Я ж, повергая себя к священным стопам вашего императорского величества», и пр.

XXX

Христенек проехал Европу благополучно и около половины марта был уже в Москве, где находилась, еще с января, императрица с двором и высшими правительственными лицами. Петербургом управлял тамошний генерал-губернатор, генерал-фельдмаршал князь Александр Михайлович Голицын⁶⁷. Получив известие, что «всклепавшая на себя имя» на-

⁶⁷ Князь Александр Михайлович Голицын (род. 1718, ум. 1783), сын петровского фельдмаршала, князя Михаила Михайловича, рожденный от второго брака его с княжной Куракиной. В молодости служил он в войсках знаменитого полководца XVIII века принца Евгения, командовавшего в 1735 году на Рейне австрийской армией, и в 1740 году, будучи 22 лет, воротился в Россию и, вступив на дипломатическое поприще, находился сначала в Константинополе при русском посланце Румянцеве, а потом посланником при саксонском дворе. Хотя он был дипломатом, но получал чины военные и с 1744 года был генерал-поручиком. В 1757 году его из посланников сделали полководцем. В Семилетнюю войну он не отличался замечательными подвигами и, командуя левым крылом армии в сражении при Кунерсдорфе, был вытеснен Фридрихом II из окопов, потерял свои пушки и множество людей и бежал с остатками своего отряда. Фридрих уже торжествовал и послал в Берлин уведомление о победе, но Петр Иванович Панин и знаменитый впоследствии Румянцев решили судьбу Кунерсдорфской битвы: прусская армия была рассеяна. Разбитый Голицын сдал команду другому, но это не помешало ему получить чин генерал-аншефа и Александровскую ленту. В 1768 году Екатерина послала его против турок и писала к графу Салтыкову: «дай бог ему счастья отцовского», но князь Александр Михайлович, как видно, не наследовал от родителя ни счастья, ни военных талантов. Он был отозван от армии и заменен Румянцевым, но все-таки получил чин фельдмаршала. Его даже называли «покорителем Хотина». Плохой полководец, он был человек добрый, честный, справедливый, не вдавался в придворные интриги и сумел приобрести

ходится в руках Грейга, императрица 22 марта написала два рескрипта: один графу Алексею Орлову, другой князю Голицыну. Орлова, находившегося еще за границей, она благодарила за искусное задержание самозванки, а князю Голицыну писала, что женщина, выдающая себя за дочь покойной императрицы Елизаветы Петровны, со свитой своею задержана на русской эскадре, с которою контр-адмирал Грейг придет в Ревель или в Кронштадт, как скоро лед дозволит кораблям войти в рейд. Императрица на всякий случай приказала приготовить в Ревеле надежное темничное помещение, если же корабли придут в Кронштадт, то всех арестантов велела принять у адмирала князю Голицыну и тайным образом, без малейшей огласки, препроводить в Петропавловскую крепость. Князю же Голицыну поручено было и производство допросов как самой пленницы, так и ее спутников.

Бумаги, взятые графом Орловым в Пизе и отданные Грейгу, адмирал из Кадикса или из Плимута наперед отправил в Россию. Императрица приказала князю Голицыну внимательно рассмотреть их и донести, кому принадлежит затея выставить на политическую арену самозванку. При этом Екатерина писала, как о достоверно известном, что «всклепавшая на себя имя» выдавала себя за сестру Пугачева. Государыня послала князю Голицыну и полученные ею еще прежде от Орлова документы. Почти за месяц до прибытия Грейга в Кронштадт фельдмаршал уже рассмотрел бумаги,

относившиеся до самозванки, и составил из них извлечение (19 апреля). Таким образом еще до прибытия пленницы в Россию, по ее бумагам, князю Голицыну были уже известны почти все ее похождения.

Вскоре по отплытии русской эскадры от итальянских берегов разнесся в Тоскане слух, распространившийся потом и по всей Европе, будто она отправилась в Бордо, и в то время, как находилась во французских водах, граф Алексей Григорьевич собственноручно умертвил принцессу Елизавету. Это еще более усилило раздражение итальянцев против гостившего еще у них Орлова. Но слух был несправедлив: графа Орлова вовсе не было ни в Бордо, ни на эскадре, а принцесса, хотя и сильно больная, 11 мая была привезена в Кронштадт.

Во время плавания до английских берегов она была спокойна. Она все еще надеялась, что в английском порте, где должны будут остановиться корабли, страстно любимый ею русский богатырь, граф Алексей Григорьевич, непременно освободит ее. Уверенность в его преданности ни на минуту не покидала несчастную женщину. В Плимуте корабли действительно остановились. Еще при отплытии их из Ливорно граф Орлов писал в Лондон к находившемуся там русскому посланнику, чтобы заблаговременно сделаны были им распоряжения к снабжению русского флота всем, что будет для него нужно. Поэтому остановка в Плимуте была непродолжительна. До тех пор принцесса не теряла надежды на

освобождение, пока не узнала, что эскадра поднимает якоря, чтоб идти в Балтийское море. По всей вероятности, она в то же время узнала и о том, как коварно поступил с нею граф Орлов. Она поняла теперь, с каким легкомыслием вдалась в обман, и мрачная будущность представилась ей во всем своем ужасе: Сибирь, вечное заточение в каземате и, может быть, даже позорная смерть ожидала ее впереди. Сначала принцесса пришла в бешенство, но ненадолго. Силы оставили ее, она лишилась чувств и так долго находилась в обмороке, что врачи опасались за ее жизнь. Ее вынесли на чистый воздух, на палубу. Когда она пришла в себя, обычная энергия возвратилась, она вскочила и стремительно бросилась к борту, чтобы спрыгнуть в стоявшую подле адмиральского корабля английскую шлюпку. Пленницу удержали, и Грейг учредил за ней строгий надзор; особо назначенные люди ни на шаг не отходили от несчастной. Это было необходимо: принцесса несколько раз хотела броситься в море и несколько раз другим образом пыталась лишиться себя жизни. Грейг должен был оставить Плимут ранее, чем предполагал: по его замечанию что-то очень много любопытных стали посещать его корабль, и из расспросов незваных гостей было видно, что они догадываются о заключении в одной из кают корабля «Трех иерархов» таинственной пленницы. Избегая возможных случайностей, адмирал поспешил отплытием. Не легко было Грейгу. «Я во всю жизнь мою никогда не исполнял такого тяжелого поручения», писал он к графу Орлову.

Когда корабли находились в английских водах, обманутая Орловым женщина почувствовала свою беременность. Она носила сына своего предателя.

Апреля 18 русская эскадра была в Зунде. Льды задержали ее в Балтийском море, и корабли не ранее 11 мая могли бросить якоря в Кронштадтском рейде. Исполняя приказание графа Орлова, Грейг никому не выдавал пленницы. Офицерам и матросам, под страхом строжайшего наказания, запрещено было говорить о ней. В самый день прихода в порт адмирал послал в Москву донесение императрице о благополучном прибытии эскадры в Россию.

Из подмосковного села Коломенского, где жила тогда Екатерина, 16 мая послано было следующее собственноручное повеление адмиралу:

«Господин контр-адмирал Грейг. С благополучным вашим прибытием с эскадрою в наши порты, о чем я сего числа и уведомилась, вас поздравляю и весьма вестию сею обрадовалась. Что ж касается до известной женщины и до ее свиты, то об них повеления от меня посланы господину фельдмаршалу князю Голицыну в С.-Петербург, и он сих *вояжиров* у вас с рук снимет. Впрочем, будьте уверены, что служба ваша во всегдашней моей памяти, и не оставлю вам дать знаки моего к вам доброжелательства. *Екатерина*. Мая 16 1775 года. Из села Коломенского, в семи верстах от Москвы».

Грейг исходатайствовал у императрицы дозволение приехать в Москву. Екатерина согласилась и удержала его при

себе до торжества, назначенного на 10 июля для празднования Кучук-Кайнарджиского мира. В этот день усердный Грейг произведен был в вице-адмиралы, через месяц назначен главным командиром Кронштадтского порта, а через год получил Александровскую ленту. Граф Алексей Григорьевич Орлов также приехал из Италии к празднеству и был принят Екатериной хотя милостиво, но с заметною холодностию. Его военные заслуги были вознаграждены: в день торжества он получил прозвание *Чесменского*, похвальную грамоту, серебряный сервиз и шестьдесят тысяч рублей. В Царском Селе в честь его воздвигнут памятник из цельного уральского мрамора, а на седьмой версте от Петербурга, в воспоминание Чесменской победы, церковь Иоанна Предтечи и при ней императорский дворец в азиатском вкусе, с наименованием Чесмы⁶⁸. Но, несмотря на усердие графа Алексея Григорьевича Орлова, оказанное при захвате «всклепавшей на себя имя», несмотря на пожалованные ему награды, кредит Орловых с этого времени упал окончательно. Граф Орлов-Чесменский не возвратился с двором в Петербург, он остался в Москве, где жил до последних годов царствования Екатерины, ведя жизнь роскошную и разгульную, о которой до сих пор сохраняются в Москве предания. Чуть не ежедневный пир на весь мир, роговая музыка, цыганы, песенники, медвежья травля, конские скачки, кулачные бои, дикий разгул – вот в каких занятиях «отдыхал на лаврах» герой

⁶⁸ Ныне Чесменская богадельня для инвалидов.

чесменский. О судьбе обманутой им принцессы он, по всей вероятности, не знал ничего верного, и когда через одиннадцать лет после того, как он захватил ее в Ливорно, в Ивановском монастыре помещена была настоящая княжна Тараканова, граф Алексей Орлов, как говорит предание, никогда не ездил мимо этого монастыря, полагая, что там томится в заключении его жертва, некогда любившая его страстно, предавшаяся ему беззаветно и так ужасно обманутая его притворною любовью.

XXXI

Вечером мая 24 фельдмаршал князь Голицын потребовал к себе капитана Преображенского полка Александра Матвеевича Толстого⁶⁹. Объявив ему, что по высочайшей воле возлагается на него чрезвычайно важное секретное поручение, он повел его в другую комнату. Там стоял нагой с крестом и Евангелием и находился священник в епитрахили. Толстой принял присягу, что под страхом строжайшего наказания будет вечно молчать о том, что должно будет ему исполнить в следующую ночь. Приведя к присяге капитана, фельдмаршал приказал ему той же ночью ехать с командой в Кронштадт, принять с корабля «Трех иерархов» от адмирала Грейга женщину с несколькими ее служителями и тайным образом отвезти их в Петропавловскую крепость, где сдать коменданту Чернышеву. Команда, посланная с Толстым, состоявшая из самых надежных людей, дала в свою очередь клятву вечного молчания.

В ночь с 24 на 25 мая яхта с Толстым и несколькими преображенцами плыла из Петербурга в Кронштадт. На берегу и на судах в устье Невы все спали, и тихо плывшая яхта прошла незамеченною. В Кронштадте она направилась прямо на военный рейд и там причалила к кораблю «Трех иерар-

⁶⁹ Впоследствии бригадир, умер в 1811 году.

хов». Толстой с командой явился к Грейгу. Адмирал приказал капитану с солдатами весь день оставаться в каютах и ни с кем не видаться. Вечером 25 он сдал Толстому принцессу, Франциску фон-Мешеде, Доманского, Чарномского и четырех камердинеров. Так же тихо, так же незаметно, как и накануне, яхта поплыла назад и в два часа ночи причалила к гранитным стенам Петропавловской крепости. Комендант, уже ожидавший в гости «вожиров», принял их от Толстого и немедленно разместил по казематам Алексеевскою рavelина. В то же утро начались допросы.

Первого допрашивали Кальтфингера. Перед допросом ему, как потом и всем остальным, было объявлено, что обстоятельства их жизни уже известны, следовательно, всякая ложь с их стороны будет совершенно бесполезна, что все средства будут употреблены для узнания самых сокровеннейших их тайн, и поэтому лучше всего рассказать с полной откровенностью все, что им известно; это одно может доставить снисхождение и даже помилование.

Кальтфингер объявил, что прежде находился он в услужении у одного французского офицера, собиравшегося в Турцию с князем Радзивилом, и приехал с ним в Рагузу. Здесь он перешел в услужение к Доманскому и сопровождал его, когда тот поехал с графиней Пиннеберг в Неаполь и Рим. В Риме господина его посещало много поляков. Графиня была нездорова, и болезненные припадки бывали с нею весьма часто; доктор Саличетти бывал у нее ежедневно. Когда все

общество поехало в Пизу, Кальтфингер хотел остаться в Риме с остальной прислугой, но графиня уговорила его ехать с нею. С нею отправился он и в Ливорно и был арестован на корабле «Трех иерархов».

После Кальтфингера допрашивали Чарномского. Он признался, что вместе с Каленским в 1772 году был послан графом Потоцким в Турцию, в лагерь тамошних войск, сражавшихся с русскими. «Цель поездки моей, – говорил Чарномский, – состояла в том, чтобы разведать, нельзя ли оттуда получить помощь польской генеральной конфедерации. Из Константинополя я привез графу Потоцкому в Верону ответ от великого визиря и затем поступил на службу к князю Радзивилу, бывшему маршалом генеральной конфедерации». Но Чарномский умолчал, что генеральная конфедерация вверила ему доставление новых писем к султану и к великому визирю и что он искал места официального агента конфедерации в Турции, которое занимал Каленский. Он умолчал и о том, что взятая в Пизе переписка конфедерации принадлежит ему, а не самозванке, и что граф Потоцкий писал к нему 6 января 1775 года о возвращении вверенной ему переписки конфедерации с турецкими властями. Оттого в Петербурге и думали, что эта переписка была вверена самозванке, а не ему. Вообще в показаниях обоих поляков, Чарномского и Доманского, заметно старание выгородить не только себя, но и все польское дело, дать всему такой вид, чтобы не было обнаружено участие конфедератов, особен-

но же князя Карла Радзивила и иезуитов в замыслах созданной польскою интригою претендентки на русскую корону. Замечательнее же всего то, что со стороны самих следователей постоянно было опускаемо все касавшееся Радзивила, иезуитов и членов польской генеральной конфедерации. Из всего хода следственного дела видно, что князя Радзивила и других поляков старались беречь, а всю тяжесть вины сложить на голову одной «всклепавшей на себя имя». Так, например, другой камердинер Доманского, Рихтер, не был допрошен обстоятельно, между тем как из захваченных бумаг ясно было видно, что он до поступления к Доманскому жил в Париже в услужении у Михаила Огинского, в пору тесного знакомства его с принцессой Владимирскою, и едва ли не сопровождал ее, по приказанию своего господина, из Парижа во Франкфурт. Очевидно, старались не привлекать к делу людей, помирившихся с королем Станиславом Августом и не возбуждавших более против себя негодования Екатерины. Что касается князя Радзивила, он вполне испытал, что значит не угодить российской императрице и поддерживаемой ею партии, приверженной королю Понятовскому.

Мы уже сказали, что громадные имения знаменитого в своем роде ясновельможного «пане коханку» были конфискованы, и что, живя в Венеции и Рагузе, он дожил до чрезвычайно тесных обстоятельств, так что даже принужден был продавать родовые бриллианты. Спустив с рук все, что мог, он дошел до неизвестной ему дотоле крайности и, покинув

принцессу Владимирскую, уехал в Венецию, а оттуда в скором времени отправился с повинною головой в Польшу к королю Станиславу Августу. Можно сказать, что в Варшаве царствовал тогда не король, а русский посланник, что не Понятовский, а он должен был решить судьбу смирившегося Радзивила. Ясновельможному князю предложили возвратить все, что потерял он, под условием, чтоб он привез в Россию принцессу Елизавету и выдал ее в руки правительства. Как ни были стеснены обстоятельства ясновельможного «пане коханку», он, всегда неразборчивый на средства и весьма легко мирившийся с совестью, не решился однако на предательство несчастной женщины и, по свидетельству Кастеры, наотрез отказался от сделанного ему предложения. Тогда ему сказали, что ему будут возвращены его конфискованные местности, если он никогда не будет помогать самозванке ни словом, ни делом. На это Радзивил согласился и получил обратно свои имения. Затем он до самой смерти (1790 г.) пользовался милостивым расположением Екатерины, хотя она и считала его пустым человеком. Очень может быть, что фельдмаршал князь Голицын имел секретное приказание всячески выгораживать смирившегося перед императрицей и при всяком случае старавшегося показать ей свою нелицемерную преданность князя Радзивила и шадить его партию. Как государыня, Екатерина была, конечно, благодарна графу Орлову за его усердие, которое, препроводив обманутую им жертву в Петропавловскую крепость, из-

бавило императрицу от хлопот, но как женщина она не могла не оценить достойно поступков как честолюбца, предавшего полюбившую его женщину и из холодного расчета поправшего чувства любви, так и беспутного Радзивила, который, несмотря на сильный соблазн сделанного ему предложения, не решился на предательство. Сравнение было, конечно, не в пользу знаменитого героя Чесмы.

Чарномский показал, что князь Радзивил, сев в Венеции на корабль варварийского капитана, чтоб ехать в Константинополь, объявил своим спутникам, что отправляющаяся с ним к султану принцесса есть дочь покойной императрицы всероссийской Елизаветы Петровны. Все поверили словам «пане коханку» и оказывали принцессе подобающие царственному происхождению почести. Во время пребывания в Рагузе консулы французский и неаполитанский несколько раз обедали у нее и обращались с ней (в первое время, пока у ней не произошло разрыва с князем Радзивилом) как с великою княжной. Когда Радзивил воротился в Венецию, продолжал Чарномский, он с Доманским решились ехать в Рим, поэтому и приняли охотно предложение принцессы сопутствовать ей на ее счет через Неаполь и Рим в ее германские владения. В Риме все признавали спутницу их русскою великою княжной и обращались с ней с таким почтением, какое оказывают только лицам царствующих домов. Резиденты курфирста Трирского, граф Ланьяско, и польского двора, маркиз Античи – несколько раз бывали у нее; последний вел

с ней переписку и на адресах писал: «Ее высочеству принцессе Елизавете». Денежные средства принцессы в Риме истощились, и Чарномский с Доманским, желая отыскать графа Потоцкого и потом вернуться в Польшу, просили принцессу уволить их из своей службы, но она в Риме уговорила их не покидать ее до времени и взяла с них обещание проводить ее до Оберштейна. Рассказав потом о прибытии лейтенанта Христенека и получении Елизаветою русских денег, Чарномский прибавил, что она ему и Доманскому сказала: «Мне граф Алексей Орлов обещал помогать во всем, и потому я поеду к нему в Пизу, где я заплачу вам долги и отпущу обоих».

В заключение Чарномский рассказал известные уже нам подробности о путешествии в Пизу и в Ливорно, о поездке на корабль «Трех иерархов» и о задержании на нем принцессы и ее спутников.

XXXII

После Чарномского к допросу привели Доманского. Он ни слова не сказал о знакомстве с принцессой в Германии, когда бывал у нее в Оберштейне и был известен под названием «Мосбахского незнакомца». Свое показание начинает он с пребывания в Венеции. «Иностранная дама» (так называет Доманский принцессу), узнав из газет, что князь Радзивил намеревается отправиться в Константинополь, приехала в Венецию, чтобы под его покровительством отправиться туда же. Когда собрались в путь и корабль был уже готов к отплытию, князь Радзивил поручил мне проводить на него «иностранную даму», сказав, что это русская «великая княжна», рожденная покойною императрицей Елизаветою Петровною от тайного, но законного брака. Я поверил словам палатина тем более, что еще в 1769 году слышал от графа Паца, служившего в России, что императрица Елизавета действительно находилась с кем-то в тайном браке. Когда мы жили в Рагузе, князь Радзивил, желая удостовериться в личности «иностранной дамы», которую называли великою княжной, писал в Мангейм к Бернатовичу, прося его доставить о ней точнейшие сведения. Бернатович вскоре уведомил, что она действительно принадлежит к высокому, знатному роду. Французские офицеры, находившиеся при Радзивиле в Рагузе, были ежедневными собеседниками «иностранной да-

мы», и она им рассказывала о своих приключениях. Офицеры писали в те города, в которых, по словам ее, она имела временное пребывание, и оттуда получены были ответы, что действительно в тех городах некоторое время жила проездом «принцесса Елизавета».

Радзивил, по словам Доманского, живя в Рагузе, через несколько времени стал сомневаться в действительности царственного происхождения графини Пиннеберг и говорил ему, что вследствие этого сомнения он утаил переданные ему принцессой письма к султану и великому визирю. «Она мне отдала эти письма для отправления в Константинополь, – сказывал «пане коханку» Доманскому, – но я, не желая более впутываться в ее замыслы, оставил их у себя, а ее обманул: сказал, что отправил их к Коссаковскому в Турцию для вручения по принадлежности». Когда Радзивил уехал обратно в Венецию, – продолжал Доманский, – принцесса сделала нам с Чарномским предложение сопровождать ее в Неаполь, Рим, а оттуда в германские ее владения. Так как путешествие это соответствовало дальнейшим моим намерениям, то я охотно согласился, тем более что она задолжала мне восемьсот червонцев, из которых триста принадлежали мне, а остальные были заняты мной для нее в Рагузе. Я потому более согласился ехать с нею, что надеялся на получение должных ей мне денег, если не в Италии, то в принадлежащем ей графстве Оберштейн. Я уговаривал и Чарномского не оставлять этой дамы, но французский консул в Ра-

гузе, у которого в доме она прежде жила, советовал Чарномскому не очень доверяться этой женщине. Чарномский сказал об этом мне и, по общему нашему совету, обратился к ней, прося откровенно признаться, кто она действительно, и обещая ей следовать за нею во всяком случае, кто бы ни была она. Выслушав Чарномского, принцесса с гневом сказала: «Как вы осмелились подозревать меня в принятии на себя ложного имени?» Чарномский смутился и замолчал. Тогда я, находясь под влиянием обворожительного ее обращения и ума, уговорил Чарномского сопровождать ее хоть до Рима, где она намеревалась провести не более восьми дней. Стесненные денежные обстоятельства принцессы породили во мне новые подозрения в ее происхождении, и я несколько раз спрашивал ее, кто она такая, и каждый раз она называла себя русскою великою княжною, дочерью покойной императрицы Елизаветы Петровны. В Риме она вошла в сношения с русским генералом графом Орловым и получила от него значительную сумму денег. Из них она расплатилась со своими займодавцами, в том числе и мне возвратила взятые для нее в Рагузе пятьсот червонцев».

Доманскому был предложен вопрос: зачем он оставался при ней, получив должные ему деньги? Он признался, что до безумия влюблен в эту очаровательную женщину. «Страстная привязанность к ней и желание знать, чем кончатся запутанные ее обстоятельства, – говорил он князю Голицыну, – заставили меня остаться при ней и уговорить Чарномского

не покидать ее». Доманский подтвердил все, что относительно его говорил на допросе Чарномский, извиняясь, что он прежде не показал всего по слабости памяти.

Утром того же 26 мая спрашивали Франциску фон-Мешед, как известно, постоянно находившуюся при Елизавете в Германии, Рагузе, Италии и на корабле «Трех иерархов». В показаниях Франциски говорится только о домашней, частной жизни принцессы. Франциска сказала, что госпожа ее держала себя с прислугой крайне осторожно. «Она никогда не вступала со мной ни в какие разговоры о предметах, не относящихся до моей должности, – говорила камермедхен, – и так таинственно держала себя относительно прислуги, что только садясь в карету сказывала, куда надо ехать. Деньги у нее были всегда, и она исправно платила прислуге, но откуда получала она их, я не знаю. Хотя она и часто бывала за службой в римско-католических храмах, но не принадлежала к латинской церкви». О беременности принцессы осенью 1774 года (от князя Лимбурга) Франциска Мешед не упомянула. Голицын и другие следователи ничего не могли более добиться от Франциски. Она была признана слабоумною, и ее больше не спрашивали. Почему не спрашивали Рихтера, Лабенского и двух итальянцев-камердинеров, остается неразъясненным.

XXXIII

Первый допрос самой принцессе был произведен того же 26-го мая. Секретарь следственной комиссии, коллежский асессор Василий Ушаков, еще заблаговременно составил вопросные пункты, сообразно со взятыми в Пизе и рассмотренными в Петербурге бумагами. Цель вопросов состояла в том, чтоб узнать от пленницы: кто внушил ей мысль принять на себя имя дочери императрицы Елизаветы Петровны и с кем по этому поводу находилась она в сношениях. Вопросные пункты были предлагаемы ей на французском языке, пленница отвечала по-французски, со слов ее ответы писались на русском языке и после того, перед рукоприкладством, переводились ей на французский язык изустно.

Когда фельдмаршал князь Голицын в первый раз вошел в отделение Алексеевскою рavelина, состоявшее из нескольких светлых, сухих и удобно убранных комнат, в которых с своею камермедхен, без внутреннего караула, содержалась «всклепавшая на себя имя», она пришла в сильное волнение. Не робость, а сильный гнев овладел ею. С достоинством и повелительным тоном спросила она Голицына:

– Скажите мне: какое право имеют так жестоко обходиться со мной? По какой причине меня арестовали и держат в заключении?

Фельдмаршал строго заметил ей, что она должна дать пря-

мые и неуклончивые ответы на все, о чем он будет ее спрашивать. Допрос начался.

– Как вас зовут? – спросил князь Голицын.

– Елизаветой, – отвечала пленница.

– Кто ваши родители?

– Не знаю.

– Сколько вам лет?

– Двадцать три года.

– Какой вы веры?

– Я крещена по греко-восточному обряду.

– Кто вас крестил и кто были восприемники?

– Не знаю.

– Где провели вы детство?

– В Киле, у одной госпожи Пере или Перон.

– Кто при вас находился тогда?

– При мне была нянька, ее звали Катериной. Она немка, родом из Голштинии.

Дальнейшие показания пленницы состояли в следующем:

– В Киле меня постоянно утешали скорым приездом родителей. В начале 1762 года, когда мне было девять лет от роду (то есть немедленно по кончине императрицы Елизаветы Петровны, которая умерла в самый день Рождества Христова 1761 года), приехали в Киль трое незнакомцев. Они взяли меня у госпожи Перон и, вместе с нянькой Катериной, сухим путем повезли в Петербург. В Петербурге сказали мне, что родители мои в Москве и что меня повезут туда. Меня

повезли, но не в Москву, а куда-то далеко, на персидскую границу, и там поместили у одной образованной старушки, которая, помню я, говаривала, что она сослана туда по повелению императора Петра III. Эта старушка жила в домишке, стоявшем одиноко вблизи кочевья какого-то полудикого племени. Здесь у приютившей меня старушки прожила я год и три месяца и почти во все это время была больна.

– Чем вы были больны?

– Меня отравили. Хотя быстро данным противоядием жизнь моя была сохранена, но я долго была нездорова от последствий данного мне яда.

– Кто еще находился при вас в это время?

– Кроме Катерины, еще новая нянька; от нее я узнала несколько слов, похожих на русские. Потом начала в том же доме у старушки учиться по-русски, выучилась этому языку, но впоследствии забыла его. На персидской границе я была не в безопасности, поэтому друзья мои, но кто они такие – я не знала и до сих пор не знаю, искали случая препроводить меня в совершенно безопасное место. В 1763 году, с помощью одного татарина, няньке Катерине удалось бежать вместе со мной, десятилетним ребенком, из пределов России в Багдад. Здесь принял меня богатый персиянин Гамет, к которому нянька Катерина имела рекомендательные обо мне письма. Год спустя, в 1764 году, когда мне было одиннадцать лет, друг персиянина Гамета, князь Гали, перевез меня в Испань, где я получила блистательное образование под руко-

водством француза Жана Фурнье. Гали мне часто говаривал, что я законная дочь русской императрицы Елизаветы Петровны; то же постоянно говорили мне и другие окружавшие меня люди.

– Кто такие эти люди, внушавшие вам такую мысль?

– Кроме князя Гали, теперь никого не помню. В Персии пробыла я до 1769 года, пока не возникли народные волнения и беспорядки в этом государстве. Тогда Гали решился удалиться из Персии в Европу. Мне было семнадцать лет, когда он повез меня из Персии. Мы выехали сначала в Астрахань, где вместо сопровождавшей нас персидской прислуги Гали нанял русскую, принял имя Крымова и стал выдавать меня за свою дочь. Из Астрахани, через всю Россию, мы приехали в Петербург, но там оставались недолго, только переночевали. Из Петербурга сухим путем поехали в Кенигсберг, где князь Гали немедленно отпустил русскую прислугу и нанял немецкую. В Кенигсберге мы пробыли шесть недель и отправились в Берлин, где жили довольно долго, а затем поехали в Лондон. В Лондоне я жила с князем Гали года два; здесь получил он известие, что ему необходимо воротиться в Персию, и он принужден был меня оставить. Без него я прожила в Лондоне пять месяцев, на деньги, оставленные им. Он баснословно богат и, расставаясь со мной, вручил мне громадную сумму и множество драгоценных вещей. Впоследствии он постоянно присылал мне очень большие суммы, на которые я могла жить в изобилии и роско-

ши и содержать многочисленную прислугу. Князь Гали расставался со мной лишь на время: он очень ко мне привязан и назначил меня единственной наследницей несметных своих сокровищ. Из Лондона я отправилась в Париж. Как в Лондоне, так и в столице Франции я продолжала называться дочерью князя Гали, и потому меня обыкновенно называли «принцессою Али». В Париже я постоянно находилась в обществе самых знатных людей, и многие из них говорили мне, что я русская великая княжна, дочь императрицы Елизаветы Петровны. Но я упорно отрицала это и продолжала называться «принцессой Али» или «принцессой Алиною». Из Парижа я поехала в Германию с целью купить в Голштинии поземельную собственность на деньги, которые получала от князя Гали. Тут я познакомилась с Филиппом-Фердинандом, князем Римской империи, герцогом Шлезвиг-Голштейн-Лимбург, владетельным графом Лимбургом. Князь оказывал мне знаки своего расположения, стал ухаживать за мной, и я вскоре заметила, что он влюбился в меня. Я не отвергла его любви, потому что и мне он очень нравился. Вскоре князь Лимбург стал формально просить моей руки, я была согласна на его предложение, но для заключения брака необходимы были документы о моем происхождении, необходимо было положительно разъяснить тайну моего рождения. Я думала было, с помощью моего покровителя, князя Гали, отыскать в России необходимые для моего брака документы, предполагала сама ехать в Петербург и там представиться

императрице Екатерине. Я надеялась снискать милостивое расположение государыни, представив ей важные предположения относительно торговли России с Персией. Об этом я предварительно послала записку русскому вице-канцлеру князю Голицыну. Я надеялась, что за эту услугу императрица даст мне фамилию и титул, которые бы сделали меня достойною вступить в брак с владетельным князем Римской империи. Все это делала я по совещанию с моим женихом, князем Лимбургом; он совершенно одобрил мои намерения и даже уполномочил меня вместе с этим делом взять на себя переговоры касательно притязаний его на Шлезвиг и Голштинию. Но в самое то время, как я собиралась ехать в Петербург, планы князя Лимбурга были расстроены полученным известием, что великий князь Павел Петрович, как наследный герцог Голштинский, променял Шлезвиг-Голштинское герцогство на Ольденбургские и Дельменгорстские владения. Это неожиданное обстоятельство заставило меня отложить на время петербургскую поездку и остаться в Оберштейне. В это время я была невестой князя Лимбурга, и все считали меня будущей его супругой. Мой жених нуждался в деньгах как на уплату старых долгов, так и на выкуп у Трирского курфюрста исключительного права на владение графством Оберштейн. Я надеялась достать ему нужную сумму, рассчитывая на кредит моего покровителя, князя Гали. Для получения денег я поехала в Венецию, под именем графини Пиннеберг; там я надеялась получить деньги от людей, знав-

ших князя Гали и имевших с ним денежные дела. Я хотела послать верного человека к нему в Персию, но, узнав, что князь Радзивил намеревается ехать в Константинополь, сама решила ехать к князю Гали через Турцию. Я просила князя Радзивила назначить мне место и время для свидания, чтоб устроить свою поездку до Константинополя под его покровительством. Радзивил назначил для свидания со мной дом одного сенатора. Мы свиделись, и в разговоре со мной князь намекнул, что я могу быть весьма полезною для Польши, так как ему от сопровождавших его французских офицеров положительно известно, что я законная дочь покойной русской императрицы Елизаветы Петровны, имею неотъемлемое право на русскую корону, и если достигну престола, то в вознаграждение за содействие, которое окажут мне поляки, должна буду возвратить Польше Белоруссию и заставить Пруссию и Австрию восстановить Польшу в пределах 1772 года. Я настойчиво отрицала слова его и, заметив, что князь Радзивил, при ограниченных способностях своего ума, исполнен самых несбыточных намерений, хотела совершенно от него отделаться. Но сестра его, Теофила Моравская, жившая с ним в Венеции и изучавшая Восток, познакомившись со мной и узнав, что я имею много сведений о восточных государствах, упросила меня ехать с нею и братом ее до Константинополя, откуда мне было бы уже легко пробраться в Испагань к князю Гали, у которого я желала лично испросить согласие на брак с князем Лимбургом и надеялась по-

лучить от него такое приданое, с которым могла бы прилично выйти замуж за имперского владетельного князя. сверх того, я надеялась получить и документы о моем рождении, необходимые для заключения брака. Таким образом мы отправились в Константинополь, но, доплыв до острова Корфу, по причине противных ветров, принуждены были воротиться в Рагузу. Отсюда Теофила Моравская с дядей своим уехали в Венецию, а я осталась в обществе князя Карла Радзивила и собравшихся вокруг него французских и польских офицеров. Я нуждалась в деньгах и посылала Чарномского в Венецию к другу моему, лорду Монтегю, переговорить с ним и достать денег, а сама оставалась в Рагузе, ожидая султанского фирмана на проезд в Константинополь. Для исходатайствования фирманов на свое и на мое имя князь Радзивил еще раньше послал в Константинополь своего поверенного. В это время, именно 8-го июля 1774 года, получила я из Венеции анонимное письмо, при котором были приложены два запечатанные конверта. В письме было сказано, что я могу спасти жизнь многих людей и сделаться посредницей при заключении мира России с Турцией, если по приезде в Константинополь соглашусь выдать себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны. Из того же письма было видно, что один из приложенных конвертов я должна была лично передать султану, а другой отослать в Ливорно к графу Алексею Григорьевичу Орлову. Конверт, назначенный в Ливорно, я распечатала и нашла в нем письмо к графу Орлову от име-

ни какой-то принцессы Елизаветы Всероссийской и проект воззвания к экипажу русского флота, находившегося под его командой. Я сняла с этих бумаг копии, а конверт запечатала своею печатью и послала в Ливорно к графу. Бумаги, найденные мною в пакете, адресованном на имя султана, убедили меня отложить поездку в Константинополь. Когда же было получено в Рагузе известие о заключении между Турцией и Россией мира, я стала настоятельно уговаривать князя Радзивила отказаться от неосуществимых его планов и советовала ему, воротясь в Польшу, примириться с королем Станиславом Августом. Но увещания мои были напрасны, Радзивил не слушался, однако же отправился назад в Венецию, оставив при мне для сопровождения меня в Италию двух дворян из своей свиты, Чарномского и Доманского. С ними я поехала в Рим. Из Рима я писала к жениху своему, князю Лимбургу, что скоро намерена воротиться в его владения. Я предполагала ехать туда сухим путем через Пизу и Геную, где надеялась покончить дело по займу денег, за поручительством князя Гали. В Риме русский лейтенант Христенек искал моего знакомства, но я не хотела иметь с ним никаких сношений, пока не узнала, что он прислан ко мне с поручением от графа Орлова. Христенек спросил меня от имени графа: я ли послала к нему в Ливорно пакет с бумагами. Я отвечала утвердительно. Тогда Христенек сказал, что граф желает со мной лично познакомиться и зовет меня в Пизу. Мне не для чего было оставаться в Риме; я, как уже сказа-

ла, намеревалась ехать в Геную, чтоб оттуда продолжать путь в Оберштейн к жениху моему, князю Лимбургу; Пиза была по дороге, и я охотно согласилась остановиться на короткое время в этом городе, чтобы познакомиться с графом Орловым и тем исполнить его желание. Христенек поехал вместе со мной, но на дороге опередил меня, чтобы приехать в Пизу прежде и приготовить все нужное к принятию меня. В Пизу я приехала под именем графини Селинской, граф Орлов немедленно явился ко мне и предложил свои услуги. Через несколько дней, при разговоре с графом Орловым об Италии, случилось мне сказать, что я никогда не бывала в Ливорно и желала бы видеть этот город. Граф Орлов предложил мне показать Ливорно, я согласилась и поехала вместе с ним и с сопровождавшими меня польскими дворянами Доманским и Чарномским. В Ливорно граф Орлов привез меня к английскому консулу, сэру Джону Дику, принявшему нас очень гостеприимно. Я просила графа Орлова доставить мне случай полюбоваться на маневры кораблей, и он с охотой согласился на то. После обеда у сэра Джона Дика, в большом обществе отправились мы на рейд, и я, совершенно доверяясь графу, поехала в шлюпке на адмиральский корабль. При сильной пушечной пальбе начались маневры, и я засмотрелась на них; в это время граф Орлов отошел от меня, а незнакомый офицер, подойдя ко мне, объявил, что я арестована. Испуганная такою неожиданностью, я написала к графу Орлову письмо, требуя разъяснения случившегося; он отвечал

мне на немецком языке.

При этом пленница передала князю Голицыну известное уже нам письмо к ней графа Орлова.

Фельдмаршал не удовольствовался данными пленницей ответами. Он имел в виду единственно разъяснение двух вопросов: кто подал ей мысль «всклепать на себя имя» дочери императрицы Елизаветы Петровны и с кем она по сему предмету находилась в сношениях? Эти вопросы, без сомнения, поставлены были самою Екатериной. Императрица не могла удовольствоваться одним романом захваченной пленницы, ей нужно было знать имена недоброжелателей, хотевших в лице мнимой принцессы создать одно из политических затруднений ее царствования. Кто эти недоброжелатели за границей, а особенно в самой России, – вот что желала знать Екатерина. Этого добивался от пленницы и фельдмаршал Голицын. Хотя она и сказала, что князь Радзивил говорил ей, что она, достигнув принадлежащего ей по праву русского престола, может быть полезна для Польши, но этим фельдмаршал не удовольствовался. Князя Радзивила императрица считала за пустого человека и притом, как кажется, не хотела впутывать в дело самозванки, после того как он обещался не помогать ей, примирился с королем Станиславом Августом и признал себя совершенно бессильным перед русскою императрицей. А между тем не кто другой, как «пане коханку», и стоял во главе затеянной поляками и иезуитами против Екатерины интриги, выдвинувшей на сцену мни-

мую дочь императрицы Елизаветы Петровны. Но по ограниченности ума он мог быть только орудием в руках искусных в интриге людей: их-то имена и хотелось узнать князю Голицыну, об них-то и желал он получить точные сведения от пленницы.

Замечательно, что хотя из бумаг, захваченных в Пизе, и видно было, что принцесса называла Пугачева своим братом, хотя об этом и писала Голицыну сама императрица, но на этот предмет ни при первом допросе, ни при последующих не было обращено никакого внимания. О Пугачеве не спросили пленницу.

Когда она кончила рассказ о своих похождениях, князь Голицын спросил ее:

– Вы должны сказать, по чьему научению выдавали себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны?

– Я никогда не была намерена выдавать себя за дочь императрицы, – твердо отвечала пленница.

– Но вам говорили же, что вы дочь императрицы?

– Да, мне говорил это в детстве моем князь Гали, говорили и другие, но никто не побуждал меня выдавать себя за русскую великую княжну, и я никогда, ни одного раза не утверждала, что я дочь императрицы. Правда, иногда в разговорах с князем Лимбургом, с князем Радзивилом и другими знатными особами, которым я рассказывала о странных обстоятельствах моего детства, они говорили мне, что напрасно я скрываю свое происхождение, что им наверно известно, что

я рождена русской императрицей. Но каждый раз, чтоб отделаться от подобных расспросов, я шутливо отвечала: «Да принимайте меня за кого вы хотите: пусть буду я дочь турецкого султана или персидского шаха или русской императрицы; я и сама ничего не знаю о своем рождении». Некоторые из знатных особ даже письменно спрашивали меня, действительно ли я русская великая княжна, но я отвечала им, что не знаю, кто были мои родители.

– Отчего же слухи о вашем происхождении от императрицы распространились с тех пор, как вы приехали в Венецию, и еще более усилились, когда вы поселились в Рагузе? – спросил князь Голицын.

– Не знаю, – отвечала пленница, – но в самом деле эти слухи особенно распространились с тех пор, как я приехала к князю Радзивилу в Венецию. Может быть, это произошло от того, что сопровождавший меня из владений князя Лимбурга в Венецианскую республику его гофмаршал барон Кнорр, несмотря на неоднократные мои запрещения, в разговорах со мной давал мне титул «высочества». В Рагузе молва о том, что я дочь императрицы Елизаветы Петровны, распространилась еще более. Я даже просила сенат Рагузской республики принять с своей стороны надлежащие меры против распространения такой опасной для меня молвы.

Голицын показал ей взятые у ней завещания Петра Великого, Екатерины I и Елизаветы Петровны, а также тот «манифестик», который посылала она из Рагузы к Орлову.

– Что вы скажете об этих бумагах? – спросил он.

– Это те самые документы, что были присланы ко мне при анонимном письме из Венеции, 8 июля 1774 года. Я говорила вам о них, – сказала принцесса.

– Кто писал эти документы?

– Не знаю.

– Кто прислал их к вам – как вы предполагаете, на кого имеете в этом подозрение?

– Не знаю, кто мне прислал анонимное письмо и эти бумаги. Я готова присягнуть, что почерк, которым писаны они, мне совершенно неизвестен. Больше ничего о них не знаю и сказать не могу.

– Послушайте меня, – сказал добрейший князь Голицын, – ради вашей собственной пользы, скажите мне все откровенно и чистосердечно. Это одно может спасти вас от самых плачевных последствий.

– Говорю вам чистосердечно и с полной откровенностью, господин фельдмаршал, – с живостью отвечала пленница, – и в доказательство чистосердечия признаюсь вот в чем. Получив эти бумаги и прочитав их, стала я соображать и воспоминания моего детства, и старания друзей укрыть меня вне пределов России, и слышанное мною впоследствии от князя Гали, в Париже от разных знатных особ, в Италии от французских офицеров и от князя Радзивила относительно моего происхождения от русской императрицы. Соображая все это с бумагами, присланными ко мне при анонимном письме,

мне действительно приходило иногда на ум: не я ли в самом деле то лицо, в пользу которого составлено духовное завещание императрицы Елизаветы Петровны? А относительно анонимного письма приходило мне в голову, не последствие ли это каких-либо политических соображений?

– С какую же целию писали вы к графу Орлову и послали ему завещание и проект манифеста?

– Я послала к графу Орлову пакет, присланный ко мне при анонимном письме из Венеции, потому что он был адресован на его имя. Письмо к графу Орлову от имени принцессы Елизаветы писала не я, оно не моей руки и не подписано мной. Для себя я сняла со всех этих документов копии, чтобы показать их жениху своему, князю Лимбургу. А к графу Орлову послала я бумаги, с одной стороны, думая, не узнаю ли я вследствие того чего-нибудь о своих родителях, а с другой стороны, чтоб обратить внимание графа на происки, которые, как мне казалось, ведутся из России.

– Что вы сделали с пакетом, адресованным к турецкому султану?

– Я не отправила его, ожидая, не будет ли какого разъяснения со стороны графа Орлова относительно моего происхождения.

– Повторяю вам, для собственной пользы вашей скажите: кто, по вашему мнению, прислал это письмо и духовные завещания?

– Не знаю. В свое время я много о том думала; подозрения

мои в составлении их падали то на Версальский кабинет, то на Диван, то на Россию, но положительного сказать ничего не могу. Эти бумаги привели меня в такое сильное волнение, что были причиной жестокой болезни, которая теперь так сильно развилась во мне.

– Но вы из Рагузы писали еще письмо к султану, в нем уже прямо называли себя «всероссийскою великою княжною Елизаветой» и просили его помощи.

– Я к султану никогда ничего не писала и всероссийскою великою княжною ни в каких письмах себя не называла.

Фельдмаршал еще раз начал было уговаривать пленницу сказать всю правду: кто научил ее выдавать себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны, с кем по этому предмету находилась она в сношениях и в чем состояли ее замыслы?

– Я вам сказала все, что знаю, – отвечала она с решительностью. – Больше мне нечего вам отвечать. В жизни своей приходилось мне много терпеть, но никогда не имела я недостатка ни в силе духа, ни в твердом уповании на бога. Совесть не упрекает меня ни в чем преступном. Надеюсь на милость государыни; я всегда чувствовала влечение к России, всегда старалась действовать в ее пользу.

Слова пленницы секретарь Ушаков записал. Ей прочли по-французски составленное показание и дали подписать.

Она взяла перо и твердо подписала: *Elisabeth*.

XXXIV

Сряду четыре дня после этого допроса ходил князь Голицын в каземат уговаривать пленницу рассказать ему всю правду. Но, несмотря на все его убеждения, она не изменила ни слова в данном показании и постоянно твердила одно:

– Сама я никогда не распространяла слухов о моем происхождении от императрицы Елизаветы Петровны. Это другие выдумали на мое горе.

Князь Голицын показал ей допрос Доманского, где тот признался, что на его вопросы об ее происхождении она несколько раз отвечала ему, что она дочь императрицы Елизаветы.

Пленница не смутилась и твердо сказала:

– Повторяю, что сказала прежде: сама себя дочерью русской императрицы я никогда не выдавала. Это выдумка не моя, а других.

Мая 31-го фельдмаршал князь Голицын послал показание пленницы к императрице и в донесении своем упомянул, что она стоит на одном: «сама себя великою княжной не называла; это выдумки других», и сказала это очень смело, даже и в то время, когда ей указано на противоречащее тому показание Доманского. «Она очень больна, – писал фельдмаршал, – доктор находит жизнь ее в опасности, у нее часто поднимается сухой кашель, и она отхаркивает кровь». Так

как «всклепавшая на себя имя», прибавил князь Голицын, «не может еще считаться совершенно изобличенною, то я не сделал никаких ограничений в пище, ею получаемой, и оставил при ней ее служанку, так как она по-русски не знает и сторожей понимать не может».

На Доманского и Чарномского фельдмаршал взглянул слишком легко. Он, кажется, и не подозревал, что оба они были замечательными деятелями польской генеральной конфедерации. Бумаги Чарномского, взятые в палаццо принцессы в Пизе, князь Голицын считал принадлежащими не ему, а пленнице. «По моему мнению, – писал он к императрице, – поляки, сопутствовавшие самозванке, ни более ни менее, как бродяги, приютившиеся к ней в надежде хорошего устройства своей будущности». Относительно прислуги князь Голицын говорил, что она вовсе не причастна к делу. При этом он прибавил, однако, что все они считали госпожу свою за принцессу.

На другой день по отправлении донесения к императрице, то есть 1 июня, князь Голицын получил от пленницы письмо. Она писала, что нисколько не чувствует себя виновною против России и против государыни императрицы, иначе не поехала бы с графом Орловым на русский корабль, зная, что на палубе его она будет находиться в совершенной власти русских.

При письме приложено было письмо к императрице. Пленница просила князя Голицына немедленно отослать это

письмо к ее величеству. Она умоляла Екатерину смягчиться над печальной ее участью и назначить ей аудиенцию, где она лично разъяснит ее величеству все недоумения и сообщит очень важные для России сведения. Оба письма (на французском языке) подписаны так: *Elisabeth*.

Императрица была сильно раздражена лаконической подписью. По правде сказать, какую же другую подпись могла употребить пленница? Зовут ее Елизаветой, это она знает, но она не знает ни фамилии своей, ни происхождения. Она была в положении «непомнящей родства»; но во времена Екатерины такого звания людей русское законодательство еще не признавало. Как же иначе, если не «Елизаветой», могла подписать пленница официальную бумагу? Но императрица видела тут другое: она думала, что, подписываясь «Елизаветой», «всклепавшая на себя имя» желает указать на действительность царственного своего происхождения, ибо только особы, принадлежащие к владетельным домам, имеют обычай подписываться одним именем. Под этим впечатлением Екатерина не поверила ни одному слову в показании, данном пленницей. «Эта наглая лгунья продолжает играть свою комедию!» – сказала она.

Июня 7 императрица писала князю Голицыну: «Передайте пленнице, что она может облегчить свою участь одною лишь безусловною откровенностию и также совершенным отказом от разыгрываемой ею доселе безумной комедии, в продолжение которой она вторично осмелилась подписать-

ся *Елизаветой*. Примите в отношении к ней надлежащие меры строгости, чтобы наконец ее образумить, потому что наглость письма ее ко мне уже выходит из всяких возможных пределов».

Получив этот рескрипт, князь Голицын послал в Алексеевский рavelин секретаря следственной комиссии Ушакова. Ушаков объявил заключенной, что в случае дальнейшего упорства ее во лжи будут употреблены *крайние способы* для узнания самых *тайных ее мыслей*. Пленница клялась, что показала одну только сушную правду, и говорила с такою твердостью, с такою уверенностью, что Ушаков, возвратясь к фельдмаршалу, выразил ему личное свое убеждение, что она сказала всю правду.

На другой день князь Голицын сам отправился к ней. Он увещевал пленницу рассказать всю правду, подавал ей надежду на помилование, если она раскроет все без утайки и искренно раскается в преступных против императрицы замыслах. Она не отказалась ни от одного из данных прежде показаний и ни одного слова к ним не прибавила. Больше всего допытывался у ней фельдмаршал, от кого получила она копии с духовных завещаний Петра I, Екатерины I и Елизаветы Петровны.

– Клянусь всемогущим богом, клянусь вечным спасением, клянусь вечною мукой, – с чувством отвечала ему пленница, – не знаю, кто прислал мне эти несчастные бумаги. Проступок мой состоит лишь в том, что я, отправив к графу

Орлову часть полученных бумаг, не уничтожила остальные. Но мне в голову не могло прийти, чтоб это упущение когда-нибудь могло довести меня до столь бедственного положения. Умоляю государыню императрицу милосердно простить мне эту ошибку и самим богом обещаюсь хранить вечно о всем этом деле молчание, если меня отпустят за границу.

– Так вы не хотите признаться? Не хотите исполнить волю всемилостивейшей государыни?

– Мне не в чем признаться, кроме того, что я прежде сказала. Что я знаю, то все сказала, и сказала сушую правду. А больше того не могу ничего сказать, потому что ничего не знаю. Не знаю, господин фельдмаршал. Видит бог, что ничего не знаю, не знаю, не знаю.

– Отберите же у арестантки все, – сурово проговорил фельдмаршал смотрителю Алексеевскою рavelина, – все, кроме постели и самого необходимого платья. Пищи давать ей столько, сколько нужно для поддержания жизни. Пища должна быть обыкновенная арестантская. Служителей ее не допускать к ней. Офицер и двое солдат день и ночь должны находиться в ее комнатах.

Пленнице перевели на французский язык распоряжение фельдмаршала. Она залилась слезами. Твердость духа, казалось, покинула ее.

Два дня, две ночи проплакала она, находясь в одних комнатах с каким-то гарнизонным офицером и двумя солдата-

ми. Она их не понимала, они не понимали ее. Принесли в деревянной чашке суровую пищу – вероятно, щи да кашу. Изнеженная, привыкшая к довольству и роскоши, изнуренная смертельною болезнью, пленница не могла прикоснуться к этому угощению. Двое суток она ничего не ела. Болезнь усилилась, сухой кашель одолевал ее, печенками отхаркивала она кровь. Она говорила офицеру и солдатам, что желает писать письмо к фельдмаршалу, но те не понимали ее. Наконец знаками и часто произнося имя Голицына бедная женщина успела вразумить тюремщиков. Ей дали бумагу, перо и чернила.

В письме к фельдмаршалу пленница горько жаловалась на обвинения, взводимые на нее, и на то, что следственная комиссия не хочет обратить внимания на обстоятельства, доказывающие ее невинность. «Не хотят, – писала она, – признать, что я не увлеклась присланными ко мне в Рагузу от неизвестного лица документами, ибо в противном случае я поехала бы не в Италию, а на Восток. Сознаюсь, – добавила она, – что ко мне в Рагузу было прислано еще много других бумаг, кроме взятых в Пизе; из них большую часть я сожгла, а некоторые, находящиеся теперь у вас, переписала своей рукой». Повторяя, что в Венецию и Рагузу поехала она с единственною целью достать у князя Гали денег, пленница писала Голицыну: «Если вы, князь, все еще мне не верите, спросите наконец обо мне некоторых знатных людей, хорошо меня знающих. Я их назову. Хотя меня и заточили в крепость,

но это еще можно поправить: объявите, что меня ошибкой приняли за другую женщину, и дайте мне возможность спокойно воротиться в Оберштейн к моему жениху, имперскому князю Лимбургу». В заключение она просила князя Голицына быть милосердным и не верить выдумкам людей, корыстолюбие которых она не могла удовлетворить или которым осталась должна самую безделицу. В этих словах нельзя не видеть указаний на Доманского и Чарномского. «Никого так много не обманывали, как меня, – писала она, – благодаря моему легковерию и доверчивости к людям. Не понимаю, как можно столь безусловно верить злонамеренным слухам, бредням и письмам бестолковых людей. В числе бумаг моих, быть может, вы найдете еще письмо от контролера финансов де-Марина, писавшего мне, будто шестьдесят тысяч войска находится в моем распоряжении. Подобные слухи были распускаемы о мне, когда я жила в Рагузе, распускали их французские офицеры, бывшие при князе Радзивиле. Они называли меня то дочерью турецкого султана, то Елизаветою, принцессою Брауншвейг-Люнебургскою, сестрою несчастного Иоанна, во младенчестве провозглашенного русским императором, то дочерью императрицы Елизаветы Петровны, другие же считали меня за простую казачку. У меня есть за границей истинные друзья; если они узнают о настоящем моем положении, я навсегда должна лишиться чести и доброго имени. Зачем же губить меня напрасно, когда и без того мое здоровье, мое имение, даже, быть мо-

жет, положение мое у князя Лимбурга навсегда утрачено? И то примите, князь, в соображение: какие причины могли бы побудить меня предпринять что-нибудь против России, которой я не знаю, с жителями которой не имела никаких сношений. Да если бы, наконец, весь свет был уверен, что я дочь императрицы Елизаветы, все-таки настоящее положение дел таково, что оно мной изменено быть не может. Еще раз умоляю вас, князь, сжальтесь надо мной и над невинными людьми, погубленными единственно потому, что находились при мне».

Прочтя письмо, князь Голицын отправился к пленнице, чтобы разъяснить два обстоятельства, о которых она упомянула.

– Какие бумаги были к вам присланы в Рагузу, кроме заветаний и манифеста? – спросил ее фельдмаршал.

– Два письма к графу Панину, – отвечала изнуренная до крайности развившеюся чахоткой, строгим заключением, голодом и нравственными страданиями пленница, – еще письмо к вице-канцлеру князю Голицыну. В этих письмах неизвестные мне люди просили этих вельмож оказать «принцессе Елизавете» возможную по обстоятельствам помощь.

Она сказала неправду. Мы знаем уже, что письма эти писаны ею из Германии, задолго до пребывания в Рагузе, и что их не отправил по назначению барон фон-Горнштейн. Князь Голицын должен был знать это из бумаг, находившихся у него под руками, но почему-то не обратил на это внимания

и не заметил пленнице несообразности ее слов.

– Вы писали ко мне, – сказал он, – что некоторые знатные особы знают вас и могут дать о вас сведения. Кто эти особы? Назовите их.

– Князь Филипп Шлезвиг-Голштейн-Лимбург, – отвечала она, – министр курфирста Трирского барон фон-Горнштейн, контролер финансов князя Лимбурга в Оберштейне де-Марин, литовский маршал Михаил Огинский, генерал французской службы барон Вейдбрехт, министр полиции в Париже Сартин.

Князь Голицын записал имена. Но ни с кем из названных не было сделано никаких сношений, никого из них не спросили, что знают они о личности пленницы. Екатерина отнюдь не хотела, чтоб история о мнимой дочери императрицы Елизаветы Петровны была разглашаема. Особенно несообразно было с ее видами, чтобы за границей могли подумать, что она, победительница Оттоманов, блистательно торжествующая теперь славный для России мир, обращает серьезное внимание на женщину, которую сама назвала «побродяжкой». В подобных случаях Екатерина держалась половицы: «из избы сора не выносить». И действительно, во время производства следствия над принцессой Владимирскою никто вне тайной экспедиции и не подозревал, чтобы «всклепавшая на себя имя» находилась в Петропавловской крепости.

Фельдмаршал снова стал увещевать пленницу, чтоб она

открыла, кто внушил ей мысль принять на себя имя дочери императрицы Елизаветы Петровны и кто были пособниками ее замысла. Он напомнил ей о *крайних мерах*. Надо полагать, что ей было известно, что значат на языке тайной экспедиции слова: «*крайние меры*».

– Я сказала вам все, что знаю, – с твердостью отвечала фельдмаршалу пленница. – Чего же вы от меня еще хотите? Знайте, господин фельдмаршал, что не только самые страшные мучения, но сама смерть не может заставить меня отказаться в чем-либо от первого моего показания.

Князь Голицын несколько помолчал и потом сказал:

– При таком упрямстве вы не можете ожидать помилования.

Но вид почти умирающей красавицы, вид женщины, привыкшей к хорошему обществу и роскошной обстановке жизни, а теперь заключенной в одних комнатах с солдатами, содержимой на грубой арестантской пище, больной, совершенно расстроенной, убитой и физически и нравственно, не мог не поразить мягкосердого фельдмаршала. Он был одним из добрейших людей своего времени, отличался великодушием и пользовался любовью всех знавших его. Забывая приказание императрицы принять в отношении к пленнице меры строгости, добрый фельдмаршал, выйдя из Алексеевскою равелина, приказал опять допустить к ней Франциску фон-Мешедде, улучшить содержание пленницы, страже удалиться за двери и только смотреть, чтобы пленница не наложила на

себя рук. Голицын заметил в ее характере так много решительности и энергии – свойств, которыми сам он вовсе не обладал, – что не без оснований опасался, чтобы заключенная не посягнула на самоубийство. Она была способна на то, как доказала на корабле «Трех Иерархов».

Об этом свидании с пленницей и о сделанных распоряжениях князь Голицын подробно донес императрице 18 июня. Но императрица отвечала ему 29 числа: «Распутная лгунья осмелилась просить у меня аудиенции. Объявите этой развратнице, что я никогда не приму ее, ибо мне вполне известны и крайняя ее безнравственность, и преступные замыслы, и попытки присвоивать чужие имена и титулы. Если она будет продолжать упорствовать в своей лжи, она будет предана самому строгому суду».

В записках Винского⁷⁰, через несколько лет по смерти принцессы сидевшего в том самом отделении Алексеевского рavelина, где содержалась она, сохранился рассказ очевидца (тюремщика), что к ней один раз приезжал граф Алексей Григорьевич Орлов. Соображая время возвращения его в Россию к самому торжеству Кучук-Кайнарджиского мира, надо полагать, что если он действительно навестил свою жертву, то это было в описываемое теперь нами время, то есть во второй половине июня 1775 года. По словам тюремщика, пленница разговаривала с графом Алексеем Григорьевичем не по-русски, громко, и, как видно, сильно укоря-

⁷⁰ См последнюю главу этой статьи.

ла его, кричала на своего предателя и топала ногами.

Что говорили между собой граф и женщина, столь жестоко обманутая им, женщина, которая готовилась быть матерью его ребенка, – осталось неизвестным. Но сцена, без сомнения, была исполнена истинного трагизма. В другой раз Орлов не видался с пленницей и, как мы уже заметили, по всей вероятности, даже не знал, что с нею случилось.

Грейг, как было сказано выше, находился в это время в Москве. Он подробно рассказал Екатерине, как «всклепавшая на себя имя» попала в расставленные сети и как она вела себя на его корабле во время плавания.

– Судя по ее произношению, думаю, что она полька, – сказал адмирал императрице.

Екатерине тотчас пришло в голову, что самозванку создала польская интрига. Сообщая князю Голицыну о словах адмирала, она приказала ему обратить особенное внимание на это обстоятельство. Таинственная завеса, закрывавшая дело пленницы, таким образом готова была раскрыться, ибо дело действительно и заведено и продолжаемо было польскою рукой. Но все-таки не взялись ни за князя Радзивила, ни за Огинского, на которых указывала сама заключенная, не разобрали как следует найденных в Пизе бумаг польской генеральной конфедерации, а обратили исключительное внимание на одну самозванку, настоятельно добиваясь от нее того, чего, по всей вероятности, и действительно она не знала. Можно догадываться, что императрица, хотя и поручив-

шая князю Голицыну обратить особенное внимание, не принадлежит ли пленница к польской национальности, приказала ограничиться допросами одной самозванки, когда убедилась, что если отыскивать польскую руку, выпустившую на политическую сцену мнимую дочь императрицы Елизаветы Петровны, то придется привлечь к делу и Радзивилов, и Огинского, и Сангушко, и других польских магнатов, смирившихся пред нею и поладивших с королем Станиславом Августом. Иначе трудно объяснить, почему при столь явных указаниях в захваченных бумагах на близкое участие польских магнатов в деле самозванки не обращено было на них ни малейшего внимания, тогда как привлечь их к делу и даже к самой строгой ответственности для Екатерины было чрезвычайно легко, ибо она властвовала в Польше почти так же неограниченно, как и в России. Как бы то ни было, следственное дело нимало не разъяснило, кто такая была женщина, которую выдавали за законную наследницу русского престола, кто внушил ей мысль, что она всероссийская великая княжна, кто способствовал исполнению ее смелых замыслов. Все это осталось загадкой, которая едва ли когда-нибудь будет разрешена.

Взятым вместе с принцессой князь Голицын, по воле императрицы, объявил, что из показаний их ясно обнаружилось, что они знали не только замыслы самозванки, но и самих зачинщиков ее замыслов. Уже одно то обстоятельство, что они остались при ней из-за каких-то воображаемых рас-

четов, тогда как будто бы признавали ее самозванкой, делает их соучастниками в ее преступлении; одно только откровенное признание во всем, до нее и зачинщиков замысла касающемся, может освободить их от всей тяжести заслуженного ими наказания. Но ни Доманский, ни Чарномский после такого сделанного им князем Голицыным объявления ничего нового не разъяснили. Прислугу не спрашивали.

На основании показаний принцессы и ее спутников составлены были в Москве и присланы к фельдмаршалу двадцать так называемых «доказательных статей». Они составлены искусно и, судя по господствующему в них тону и по отзывам о них князя Голицына, по-видимому, самой императрицей или кем-нибудь под непосредственным ее руководством. «Эти статьи, – писала Екатерина, – совершенно уничтожат все ее (пленницы) ложные выдумки».

При «доказательных статьях» приложены были, в переводе на русский язык, письма принцессы к султану, к графу Орлову, к трирскому министру барону Горнштейну и к другим.

XXXV

Июля 6 фельдмаршал с «доказательными статьями» поехал в крепость и прежде всего зашел к Елизавете. С большою подробностью проходил он одну статью за другою и указывал пленнице на большое сходство в слоге и даже в целых выражениях между ее письмами, писанными к нему из Петропавловской крепости, и письмами к султану и Горнштейну, найденными у ней в Пизе. Князь Голицын старался убедить ее, что одно из писем к султану очевидно писано до заключения им мира с Россией, а другое после, и оттого нельзя утверждать, чтоб оба были присланы к ней одновременно, в одном конверте. Затем фельдмаршал доказал ей положительно, что подробности, заключающиеся в письме к неизвестному министру (это было письмо к Горнштейну), были известны ей одной, а потому оно не могло быть писано другим лицом.

Пленница стояла на своем. Ни «доказательные статьи», на которые так рассчитывала императрица, ни доводы, приводимые фельдмаршалом, нисколько не поколебали ее. Она твердила одно, что первое показание ее верно, что она сказала все, что знает, и более сказанного ничего не знает. Это рассердило наконец и добрейшего князя Голицына. В донесении своем императрице (от 13 июля) об этом свидании с пленницей он называет ее «наглою лгуньей».

От пленницы фельдмаршал пошел в каземат, где был заключен Доманский.

– Вы в своем показании утверждали, – сказал ему князь, – что самозванка перед вами неоднократно называла себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны. Решитесь ли вы уличить ее в этих словах на очной ставке?

Доманский смутился. Но, несколько оправившись и придя в себя, с наглостью «отрекся от данного прежде показания, утверждая, что никогда не говорил при следствии приписываемых ему фельдмаршалом слов». Наглость поляка вывела князя Голицына из терпения. Он грозил ему строгим наказанием за ложь, но Доманский стоял на своем, говоря, что никогда не слышал, чтобы графиня Пиннеберг называла себя дочерью русской императрицы. Не было никаких средств образумить упрямого шляхтича.

Князь Голицын отправился в каземат Чарномского.

– Не передавал ли вам когда-нибудь Доманский, – спросил он его, – что эта женщина в разговорах с ним называла себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны?

– Да, он говорил мне об этом, – отвечал Чарномский.

– Скажете ли вы это прямо ему в глаза?

– Скажу.

Тотчас же обоим полякам дали очную ставку. Чарномский уличал приятеля, что он говорил ему о словах графини Пиннеберг, утверждавшей, что она дочь императрицы.

– Этого никогда не было, – сказал смущенный Доманский.

– Как никогда не было? – возразил Чарномский. – А вспомните, как вы это говорили мне на корабле во время переезда нашего через Адриатическое море, из Рагузы в Барлетту.

Доманский продолжал заперяться, но сбился в словах и был совершенно уличен Чарномским. Наконец он изъявил готовность стать на очную ставку с пленницей.

– Умоляю вас, – сказал он, обращаясь к фельдмаршалу, – простите мне, что я отрекся от первого моего показания и не хотел стать на очную ставку с этою женщиной. Мне жаль ее, бедную. Наконец, я откроюсь вам совершенно: я любил ее и до сих пор люблю без памяти. Я не имел сил покинуть ее, любовь приковала меня к ней, и вот – довела до заключения. Не деньги, которые она должна была мне, но страстная, пламенная любовь к ней заставила меня покинуть князя Радзивила и отправиться с ней в Италию.

– Какие же были у вас надежды? – спросил князь Голицын.

– Никаких, кроме ее любви. Единственная цель моя состояла в том, чтобы сделаться ее мужем. Об ее происхождении я никогда ничего не думал и никаких воздушных замков не строил. Я желал только любви ее и больше ничего. Если б и теперь выдали ее за меня замуж, хоть даже без всякого приданого, я бы счел себя счастливейшим человеком в мире.

После такого признания дана была очная ставка Доманскому с предметом его нежной страсти. Разговор между ни-

ми происходил на итальянском языке.

Смущенный и совершенно растерянный, Доманский сказал пленнице, что она в разговорах с ним действительно называла себя дочерью русской императрицы Елизаветы Петровны.

Резко взглянула на него пленница, не говоря ни слова. Доманский еще более смутился и стал просить у нее прощения.

– Простите меня, что я сказал, но я должен был сказать это по совести, – говорил влюбленный шляхтич.

Спокойным и твердым голосом, смотря прямо в глаза Доманскому, пленница отвечала, будто отчеканивая каждое слово:

– Никогда ничего подобного серьезно я не говорила и никаких мер для распространения слухов, будто я дочь покойной русской императрицы Елизаветы Петровны, не предпринимала.

Доманский замолчал, опустя голову. Пленница, казалось, сжалась над своим обожателем и, обратясь к фельдмаршалу, сказала:

– Доманский беспрестанно приставал ко мне с своими несносными вопросами: правда ли, что я дочь императрицы? Он надоел мне, и, чтоб отделаться от него, быть может, я и сказала ему в шутку, что он теперь говорит. Теперь я хорошенько не помню.

Очная ставка тем и кончилась. Было еще одно обстоятельство, на которое указал в допросе своем Доманский и кото-

рое могло бы уличить пленницу в политических ее замыслах. Это передача ею князю Радзивилу писем к султану и великому визирю с тем, чтобы «пане коханку» отослал их в Турцию к агенту своему, Коссаковскому. Но на основании этого показания нельзя было сделать очной ставки, ибо Доманский показал, что слышал об этом не от самой принцессы, а от князя Радзивила. Тем не менее князь Голицын, как скоро Доманский, по окончании очной ставки, вышел из каземата пленницы, спросил ее:

– Посылали вы через князя Карла Радзивила какое-нибудь письмо к Коссаковскому в Турцию?

Пленница несколько смутилась, помолчала, как бы припоминая что-то, и затем решительно ответила:

– Нет, не посылала.

– И никаких писем в Константинополь вы не посылали? – продолжал спрашивать князь Голицын.

Она опять стала соображать, делая вид, будто припоминает что-то.

– Я писала в Константинополь из Венеции к купцу Мелину, – сказала она, – чтоб он переслал в Персию письма мои к Гамету и князю Гали. Гамета в письме своем я просила, чтоб он приискал для моего помещения дом в Испагани, так как я предполагала туда ехать, а к князю Гали обратилась за деньгами. Я просила у него сто тысяч гульденов.

– Для чего вам нужна была такая огромная сумма?

– На расходы при вступлении в брак с князем Филиппом

Шлезвиг-Голштейн-Лимбургским.

– Но ведь эта сумма баснословна, – заметил князь Голицын. – Сто тысяч гульденов!

– Что ж вас удивляет? – с достоинством отвечала пленница. – Я единственная наследница князя Гали, а богатства его так велики, что сумма во сто тысяч гульденов для него сущая безделица.

– Вы говорите, – сказал фельдмаршал, – что воспитывались в Персии у этого Гали; знаете вы восточные языки?

– Да, я знаю по-персидски и по-арабски.

– Не можете ли вы написать мне на этих языках несколько фраз, которые я вам скажу по-французски.

– С большим удовольствием, – отвечала пленница и, взяв перо, написала продиктованную фразу непонятными фельдмаршалу буквами и, подавая ему бумагу, сказала: – Вот это по-арабски, а это по-персидски.

Князь Голицын на другой день показывал написанные пленницей арабские и персидские фразы «сведушим людям». Кто были эти сведущие в восточных языках люди – нам неизвестно. Впрочем, в Петербурге в это время нетрудно было отыскать людей, основательно знающих эти языки. Такие люди были в коллегии иностранных дел, в Академии наук. Сведущие люди объявили фельдмаршалу, что показанное им письмо писано буквами им неизвестными, но, во всяком случае, не персидскими и не арабскими. Князь Голицын нарочно поехал в Петропавловскую крепость, надеясь сму-

тить пленницу таким отзывом знатоков и затем, может быть, добиться от нее каких-либо сознаний. Но он ошибся. Когда, сказав ей об отзыве сведущих людей, он строго спросил ее:

– Что же это, наконец, значит?

Она преспокойно и даже насмешливо ответила ему:

– Это значит, что спрошенные вами люди не умеют читать ни по-арабски, ни по-персидски.

XXXVI

Июля 13, на третий день после того, как императрица, празднуя Кучук-Кайнарджиский мир, пожаловала фельд-маршалу князю Голицыну бриллиантовую шпагу с надписью «За очищение Молдавии до самых Ясс» и богатый серебряный сервиз, он писал государыне, что допросы по «доказательным статьям» сделаны, но ничто не может заставить пленницу раскаться, ни даже безнадежное состояние ее здоровья. «Пользующий ее доктор полагает, – писал фельд-маршал, – что при продолжающихся постоянно сухом кашле, лихорадочных припадках и кровохаркании – ей жить остается недолго. Действовать на ее чувство чести или на стыд совершенно бесполезно, одним словом, от этого бессовестного создания ничего не остается ожидать. При естественной быстроте ее ума, при обширных по некоторым отраслям знаний сведениях, наконец, при привлекательной и вместе с тем повелительной ее наружности нимало не удивительно, что она возбуждала в людях, с ней обращавшихся, чувство доверия и даже благоговения к себе. Адмирал Грейг на основании выговора ее думает, что она полька. Нет, ее за польку принять невозможно. Она слишком хорошо говорит по-французски и по-немецки, а взятые с ней поляки утверждают, что она только в Рагузе заучила несколько польских слов, а языка польского вовсе не знает».

Действительно, в бумагах пленницы найдены были листки с польскими вокабулами. Вероятно, принцесса училась по ним.

Между тем чахотка быстро развивалась у несчастной женщины, беременной уже вторую половину. Она почти не вставала с постели. Нравственные страдания ее были еще сильнее физических. Лишенная свободы, она таяла в темничном заключении, не видя ни с чьей стороны ни малейшего участия к несчастному своему положению. Франциска фон-Мешедде, женщина весьма ограниченная, считала госпожу свою виновницей и ее заключения, а потому и обращалась с нею безучастно. Еще менее показывал к ней участия ежедневно посещавший ее доктор. Затем солдаты то и дело появлялись в ее комнатах и обходились с нею сурово. Грубое обращение их заставляло содрогаться ее женскую натуру. Несчастливая сознала наконец, что дни ее изочтены, недолго остается ей страдать в здешнем мире. Не могла она не думать и о судьбе того, чьею матерью готовилась быть.

Она попросила бумаги и перо, чтобы писать к князю Голицыну. Доложили об этом фельдмаршалу. Он полагал, что ожидание близкой смерти возбудит, быть может, в пленнице раскаяние и внушит мысль рассказать все, чего напрасно добиваются от нее почти два месяца. Письменные принадлежности были даны, и 21 июля Елизавета написала к князю Голицыну письмо, исполненное самого безотрадного отчаяния. При нем были приложены длинные записка и письмо к

императрице.

Ничего нового в них не было сказано. Пленница настоятельно подтверждала прежнее свое показание и по-прежнему уверяла, что решительно не знает, кто прислал ей при анонимном письме из Венеции духовные завещания, проект манифеста и письмо к графу Орлову. Далее она жаловалась на суровое обращение с нею в крепости и представляла себя как жертву неизвестных ей интриганов, воспользовавшихся намерением ее отправиться в Константинополь. Надо полагать, что она подразумевала тут не только Доманского с Черномским, но и самого князя Радзивила с его свитой, которой приписывала разглашение об ее происхождении от императрицы Елизаветы. «Требуют теперь от меня сведений о моем происхождении, – писала она, – но разве самый факт рождения может считаться преступлением? Если же из него хотят сделать преступление, то надо бы собрать доказательства о моем происхождении, о котором и сама я ничего не знаю. Меня обвиняют, что я называла себя дочерью императрицы. Если я называла себя этим именем, то не иначе, как в шутку, в тесном дружеском кружке, чтоб отделаться от вопросов, с которыми неотвязно приставали ко мне друзья мои. А разве слова, сказанные в минуту веселости, в виде шутки, могут считаться обвинением в преступлении? Я ничего не прошу, только возвратите мне свободу. Если вы меня освободите, я немедленно уеду в Оберштейн и о всем случившемся навеки сохраню глубочайшую тайну. Сделать это тем бо-

лее возможно, что на корабле меня принимали за какую-то польскую даму. Вместо того, чтобы предъявить мне положительные сомнения в истине моих показаний, мне твердят одно, и притом в общих выражениях, что меня подозревают, а в чем подозревают и на основании каких данных, того не говорят. При таком направлении следствия, как же мне защищаться против голословных обвинений? Если останутся при такой системе производства дела, мне, конечно, придется умереть в заточении. Теперешнее мое положение при совершенно расстроенном здоровье невыносимо и ни с чем не может быть сравнено, как только с пыткой на медленном огне. Ко мне пристают, желая узнать, какой я религии; да разве вера, исповедуемая мной, касается чем-либо интересов России? Чтобы сделаться супругой князя Шлезвиг – Голштейн-Лимбурга, я должна сделаться католичкой. Это для меня будет тем легче, что я в жизнь мою еще никогда не исповедывалась». Обращаясь к князю Голицыну, пленница горячо умоляла его о ходатайстве пред императрицей, просила освобождения, обещая за то вечную признательность свою и благодарность многочисленных друзей ее, принадлежавших к числу знатных людей.

Князь Голицын 25 июля послал письмо пленницы в Москву к государыне. Оно встретилось на дороге с повелением, посланным к нему от Екатерины 24 июля.

Это повеление препровождено было фельдмаршалу генерал-прокурором князем Александром Алексеевичем Вязем-

ским. Императрица писала: «Удостоверьтесь в том, действительно ли арестантка опасно больна. В случае видимой опасности, узнайте, к какому исповеданию она принадлежит, и убедите ее в необходимости причаститься перед смертью. Если она потребует священника, пошлите к ней духовника, которому дать наказ, чтоб он довел ее увещаниями до раскрытия истины; о последующем же немедленно донести с курьером».

Генерал-прокурор, препровождая это именное повеление, прибавил от себя: «священнику предварительно, под страхом смертной казни, приказать хранить молчание о всем, что он услышит, увидит или узнает».

Послав это повеление, императрица, неизвестно почему, на другой же день изменила свое решение. В новом рескрипте, от 25 июля, она писала фельдмаршалу: «Не допрашивайте более распутную лгунью; объявите ей, что она за свое упорство и бесстыдство осуждается на вечное заключение. Потом передайте Доманскому, что если он подробно расскажет все, что знает о происхождении, имени и прежней жизни арестантки, то будет обвенчан с нею, и они потом получат дозволение возвратиться в их отечество. Если он согласится, следует стараться склонить и ее, почему Доманскому и дозволить переговорить о том с нею. При ее согласии на предложение – обвенчать их немедленно, *чем и положится конец всем прежним обманам.* Если же арестантка не захочет о том слышать, то сказать ей, что в случае открытия своего

происхождения она тотчас же получит возможность восстановить сношения свои с князем Лимбургским».

Князь Вяземский в особой записке к фельдмаршалу прибавил: «Последнее предложение (о князе Лимбургском) должно быть сделано собственно от вашего имени». В другом письме (от 26 июля) генерал-прокурор сообщил князю Голицыну, что английский посланник уверял императрицу, что «всклепавшая на себя имя» есть дочь пражского трактирщика, и потому советовал послать к ней протестантского пастора, которому, может быть, удастся выведать истину. Генерал-прокурор полагал, что Прага – город немецкий, а потому и уроженцы его должны быть лютеране. Он не знал, как видно, что в Чешской земле большинство жителей исповедует римское католичество.

Получив новые повеления, фельдмаршал отправился в Петропавловскую крепость. Он нашел пленницу в совершенно безнадежном состоянии. Она лежала умирающая, страдая душевно и телесно.

– Не желаете ли вы духовника, чтобы приготовиться к... смерти? – сказал фельдмаршал, наклоняясь к пленнице.

– Да.

– Какого же вам священника, греко-восточного или католического?

– Греко-восточного.

Князь Голицын оставил каземат пленницы. Она не могла говорить с ним.

Он приказал отыскать православного священника, знающего французский или немецкий язык. Сыскали священника Казанского собора, Петра Андреева, говорившего по-немецки.

Когда священник был отыскан, князь Голицын получил новое письмо от генерал-прокурора, от 26 июля (таким образом, три дня сряду писались из Москвы одно за другим повеления о пленнице).

Августа 1, приехав в крепость, фельдмаршал снова уговаривал лежавшую на смертном одре женщину признаться во всем. «Я теперь узнал о вашем происхождении», – говорил он, полагаясь на сообщенные ему генерал-прокурором известия, но не сказал на этот раз ни слова относительно происхождения пленницы от трактирщика. «Услышав от меня сии слова, пленница сначала, видимо, поколебалась, – пишет князь Голицын в своем донесении, – но потом тоном, внушавшим истинное доверие, сказала, что она хорошо узнала и оценила меня (князя Голицына), вполне надеется на мое доброе сердце и сострадание к ее положению, а потому откроет мне всю тайну, если я обещаю сохранить ее в тайне. Но я могу решиться только на письменное признание, – сказала она, – дайте мне для того два дня сроку».

Князь Голицын был сильно тронут словами умиравшей красавицы. Он думал, что пленница и в самом деле раскроет ему наконец все, чего так долго и напрасно добивался он в силу возложенной на него обязанности. Он согласился на

два дня отсрочки и приказал дать больной письменные принадлежности.

Прошло два дня. Князю Голицыну докладывают, что с пленницей случился такой жестокий болезненный припадок, что она не только писать, но даже и говорить не может.

Августа 6 она получила небольшое облегчение от болезни и просила доктора сказать фельдмаршалу, что к 8 числу она постарается кончить свое письмо. Князь Голицын донес об этом императрице. В этом донесении он заметил между прочим, что ожидаемое от пленницы письмо покажет, нужно ли будет прибегать к помощи священника, чтобы посредством исповеди получить полное сознание арестантки. Августа 9 фельдмаршал получил письмо пленницы.

В этом письме беременная пленница умоляла князя Голицына сжалиться над ужасным ее положением. «Днем и ночью в моей комнате мужчины, – писала она, – с ними я и объясниться не могу. Здоровье мое расстроено, положение невыносимо. Лучше я пойду в монастырь, долее терпеть такое обхождение я не в силах. От меня настоятельно требуют сведений о моем происхождении: кроме сказанного мною прежде, я ничего не знаю. Может быть, знают о том другие; позвольте мне написать к своим друзьям, чтоб они сообщили нужные обо мне сведения».

К письму приложено было другое, к императрице. Пленница умоляла Екатерину о помиловании и жаловалась на суровое с нею обращение, особенно на присутствие около ее

постели солдат даже ночью. «Такое обхождение со мной заставляет содрогаться женскую натуру, – писала она. – На коленях умоляю ваше императорское величество, чтобы вы сами изволили прочесть записку, поданную мною князю Голицыну, и убедились в моей невинности».

Эта записка начинается повторением прежде сказанного ею о причинах, побудивших ее ехать из Германии в Венецию и Рагузу, и о том, как получила она анонимное письмо с приложением завещаний, манифеста, писем к графу Орлову, султану и другим незнакомым и неизвестным ей лицам. «Я сначала хотела все эти бумаги послать к графу Орлову, – писала она, – я не знала иного пути для доставления их императрице, но я побоялась отослать их все вдруг, думая, что на почте обратят внимание на необыкновенно большой пакет и, пожалуй, вскрыют его. Потому я сначала послала один только конверт, адресованный на имя графа Орлова. Препровождая его, я не писала от себя к графу, боясь неприятностей, если бы при бумагах такого содержания нашли письмо от меня. Из этой же боязни таинственных интриг, которыми я была окружена, оставила я мысль о путешествии на Восток и сожгла все присланные ко мне подлинные бумаги, сняв с важнейших копии. Эти копии я писала, чтобы со временем переслать их к графу Орлову, с тем, чтоб он представил их императрице. Затем я поехала в Рим. Снятые мною копии я не считала для себя опасными, но прежде, чем успела переговорить о них с графом Орловым, со мной случилось нежиз-

данное обстоятельство: меня арестовали, я больше не выдалась с графом и не могла сказать ему об остальных находящихся у меня копиях. Точно так же, по краткости времени, проведенного мною в Пизе с графом, я не успела ничего сказать ему и о поручениях, возложенных на меня из Персии».

Затем в записке пленницы идет новый рассказ об ее происхождении. Пленница называет себя черкешенкой, принадлежащей к одному из древнейших и знаменитейших родов горских князей – к роду Гамета (?).

«Я родилась в горах Кавказа, – писала она, – а воспитывалась в Персии. По достижении совершеннолетия оставила я страну моего воспитания, чтобы при помощи русского правительства приобрести полосу земли на Тереке. Здесь я намерена была посеять первые семена цивилизации посредством приглашенных мною к поселению французских и немецких колонистов. Я намеревалась образовать таким образом небольшое государство, которое, находясь под верховным владычеством русских государей, служило бы связью России с Востоком и оплотом русского государства противу диких горцев. Князь Лимбургский явился как бы посланником Божиим для осуществления моих планов. Он не только одобрил мои предприятия, но даже сам, отказываясь от своих владений в Европе в пользу младшего своего брата, хотел вместе со мной устраивать новое государство на Кавказе. Посредством графа Орлова я надеялась получить на то согласие императрицы, для чего и вошла с ним в сно-

шения. Я питала эти надежды даже и на корабле, во время пути из Ливорно в Петербург. Могла ли я думать, что меня станут обвинять в преступлении противу императрицы, меня, столь доверчиво последовавшую на русский военный корабль за одним из наиболее преданных ее величеству адмиралов? После этого можно ли думать, чтоб я питала какие-нибудь враждебные замыслы против России? Знаю, что нахожусь в полной власти императрицы: смерть моя скоро послужит тому доказательством. Если бы меня не подвергли аресту в Ливорно, мне, при многочисленных моих связях, давно бы удалось узнать, кто сочинил все эти духовные завещания, манифесты и другие присланные ко мне при анонимном письме бумаги. А теперь я должна погибнуть жертвой корыстолюбия и хитрости чуждых мне людей, и только по смерти моей истина откроется и невинность моя обнаружится. При следствии никто не хотел обратить внимание на то, что гораздо ранее распространившихся безумных толков о русском моем происхождении я жила и была лично известна многим в Лондоне, в Париже и в Германии. Умоляю, позвольте мне по крайней мере написать к друзьям моим, поручившим мне самые важные дела свои, а теперь даже не знающим, где я и что со мной делается. Пусть прочитают мои письма перед их отправлением; я не замышляю побега – это воспрещает мне честь моя».

«Кажется, можно бы было обходиться со мной почеловечливее и помилостивее, – писала пленница в заключе-

ние записки. – Ложное честолюбие никогда меня не увлекало: мне равно хорошо известны и большой свет и простонародье, стало быть, нечего мне было гоняться за призраками. В жизни моей я нередко страдала и всегда была убеждена, что возможное на земле счастье заключается в одном спокойствии совести. И этого счастья никто не в состоянии отнять у меня. Обо мне часто судили ложно, а теперь упрекают в хитрости и во лжи, но как же согласить это с тем, что я так слепо отдалась графу Орлову? Он меня ввергнул в погибель. Я не сделала ему никакого зла и от всего сердца прощаю его. Вполне предаю себя воле государыни императрицы. Я круглая сирота, одна, на чужой стороне, беззащитная против враждебных обвинений. Только на единого бога возлагаю упование, только он один меня не покинул. Тем не менее я все еще надеюсь на правоту свою и на великодушное сердце государыни императрицы, если только правда до нее доходит».

XXXVII

Князь Голицын не того ожидал. Пленница обещала ему открыть всю истину, обязывая даже хранить в тайне, что он от нее узнает, и вдруг он получает какой-то фантастический рассказ о том, что она черкешенка, хотевшая основать химерическое государство на Тереке.

Пленница, говоря, что намерена была на Тереке между русскими владениями и землями независимых горцев устроить под верховною властью Екатерины новое государство из немецких колонистов, кажется, желала польстить императрице, подать ей выгодное о своих намерениях мнение и чрез то достигнуть свободы или по крайней мере облегчения своей участи. Известно, что с самого начала своего царствования Екатерина заботилась о привлечении в Россию поселенцев из Западной Европы, учредила особую «канцелярию опекунства иностранных», председателем которой назначила князя Григория Орлова, ассигновала большие суммы для переселения немцев на берега Волги, дала им огромные участки превосходной земли, избавила их от платежа податей и от выполнения рекрутской и других повинностей. Переселившихся на таких условиях в Россию немецких колонистов в первые три года было около ста тысяч человек. Затем число иностранцев, желавших переселиться на привольные берега Волги, сделалось так значительно, что канце-

лярия опекунства иностранных, будучи не в состоянии удовлетворять просьбам об отправлении их на казенный счет на отведенные места, ходатайствовала у императрицы о прекращении на время колонизации. Екатерина, видя, что водворение колонистов в юго-восточной части империи с началом турецкой войны не может продолжаться по причине недостатка денежных средств, с сожалением согласилась на такую приостановку. Водворение немцев в пределах русской империи с такими правами и преимуществами, какие даровала им Екатерина, было, как оказалось впоследствии, политической ошибкой великой государыни. Призванные ею немцы во сто лет не принесли России ни малейшей государственной пользы, но возбудили в окрестном русском населении мысль, что правительство явно покровительствует чужим в ущерб интересам коренных русских подданных. Эта мысль принесла в свое время немало вреда. Но Екатерина не предвидела этого и, как мы сказали, согласилась на временное приостановление колонизации с сожалением. Пленница, хорошо знавшая современные политические дела, знала, конечно, и об этом. И вот она хватается за мысль о колонизации французов и немцев на берега Терека, без издержек русского казначейства, надеясь, что это понравится Екатерине и облегчит, быть может, ее участь. Вероятно, в том же смысле написан был и проект принцессы о торговле России с Азией, который она составила еще в Оберштейне и отдала Горнштейну для отправления к русскому вице-канцлеру.

Но расчеты пленницы не увенчались успехом. Голицын не обратил особого внимания на новое ее показание. Ему оставалось одно: исполняя повеление императрицы, обещать Елизавете брак с Доманским и даже возвращение в Оберштейн к князю Лимбургскому. Приехав нарочно для того в Петропавловскую крепость, он прежде всего отправился в комнату, занимаемую Доманским, и сказал ему, что брак его с той женщиной, которую знал он под именем графини Пиннеберг, возможен и будет заключен хоть в тот же день, но с условием.

– С каким? – живо спросил обрадованный Доманский. – Я все готов сделать, чтобы достичь счастья быть ее мужем. За эту цену я готов хоть навсегда оставаться заключенным в крепости.

– Скажите, кто она такая.

– Видит бог, что не знаю, кто она такая. Я бы все сказал, если бы знал.

– Кто подал ей мысль назваться дочерью императрицы Елизаветы Петровны?

– Не знаю. Еще прежде, чем я узнал ее, о ней уже все говорили, что она русская великая княжна.

– Кто были участники в ее замыслах?

– Не знаю. Я бы все сказал, но не знаю. Все, что знаю, я сказал, больше ничего не знаю. Но обвенчайте нас, и я хоть сейчас дам подписку, что добровольно обрекаю себя на вечное заключение в этой крепости, если по каким-либо выс-

шим соображениям нельзя даровать ей свободу. Я готов все принести в жертву для нее, только не разлучайте нас.

Князь Голицын пошел в каземат, где содержалась пленница. Она была так слаба, что не могла подняться с постели. Фельдмаршал начал разговор с нею строгими упреками за то, что она обманула его: обещалась рассказать всю истину о себе, а написала такой же вздор, как и прежде. Совершенно изнеможенная смертным недугом, пленница не возражала, но слабым голосом клялась фельдмаршалу, что все написанное ею истинная правда, что она не знает, кто были ее родители, и больше того, что прежде говорила и писала, по совести не может ничего сказать.

– Вы католического исповедания? – спросил ее князь Голицын.

– Да, я должна держаться этого исповедания.

– Почему?

– Потому что обещала это *моему мужу*, – отвечала пленница.

– Мужу? Вы замужем? Кто же ваш муж?

– Князь Филипп Лимбургский. Впрочем, я еще не присоединена к римской церкви и ни разу не приобщалась по католическому обряду.

– Почему же вы прежде хотели иметь духовником священника греко-восточного исповедания?

– В моем отчаянном положении я часто не имею полного сознания о том, что говорю.

Добрейший князь Александр Михайлович был рассержен неудачей своих расспросов. Он строго сказал пленнице:

– Так я вам не пришлю ни греческого, ни католического духовника. Слышите вы это?

– Не пришлете, так и не нужно, – равнодушно отвечала больная.

Фельдмаршал замолчал и через несколько времени спросил пленницу:

– Зачем же вы прежде не сказали мне, что вы супруга князя Лимбургского?

Она не отвечала на это ни слова. Голицын опять спросил:

– Вы с князем Лимбургом венчались по церковному обряду?

– Мы священника не призывали, – отвечала пленница, – но князь Лимбургский дал мне торжественное обещание жениться на мне и в виде залога совершил в мою пользу запись на пожизненное владение принадлежащим ему графством Оберштейн.

– Знает ли князь о вашем происхождении?

– Столько же, как и я сама.

– Кто же знает?

– Помню, что старая моя няня Катерина в детстве моем говорила, что мой учитель арифметики Шмидт да еще маршал лорд Кейт знают, кто мои родители.

– Какой маршал Кейт? – спросил Голицын

– Брат того Кейта, который служил в русской армии во

время войны против турок.

– Вы знали лично генерала Кейта?

– Нет, я его не знала, но брата его, лорда Кейта, видела один раз и то мельком, проездом через Швейцарию, куда меня маленькую возили из Киля. От Кейта я получила и паспорт на обратный путь. Помню, что у него жила турчанка, присланная ему братом его из Очакова или с Кавказа. Она воспитывала несколько маленьких девочек, вместе с нею взятых в плен; они жили при ней и после. Я видела ее и с девочками после смерти лорда Кейта, проездом через Берлин. Турчанка жила тогда в Берлине. Хотя я и знаю, что я не из числа воспитывавшихся у ней девочек, но очень может быть, что я черкешенка. Наверное же ничего не знаю о моих родителях, но позвольте мне написать письмо к друзьям моим, они постараются собрать сведения о моем рождении. Они сделают это.

– Это совершенно бесполезно, – заметил князь Голицын. – Лучше вас самих никто не знает о вашем происхождении, только вы говорить не хотите. Но я знаю, кто вы, я имею явные на то доказательства.

– Кто же я? – приподнявшись и устремля испытующий взор на фельдмаршала, сказала пленница.

– Дочь пражского трактирщика.

Больная вскочила с постели и с сильнейшим негодованием вскричала:

– Кто это сказал? Глаза выцарапаю тому, кто осмелился

сказать, что я низкого происхождения!

– Признайтесь однако, что вы провели детство в Праге? – сказал князь Голицын.

– Никогда я там не бывала, – ответила пленница.

Силы оставили ее, она упала на постель.

Когда пленница несколько успокоилась, князь завел речь о Доманском. Она слушала равнодушно, но когда Голицын сказал, что Доманский неотступно просит руки ее и что, если она хочет, может выйти за него замуж хоть в тот же самый день, пленница засмеялась.

– Этот жалкий человек! – сказала она насмешливым тоном. – Да ведь он совершенно необразован! Ведь он порядочно не знает ни одного языка! Помилуйте! Возможно ли это?

Принцесса забыла «Мосбахского незнакомца», забыла и то, что в Рагузе подавала Доманскому большие надежды на свою руку.

Попавший в сваты фельдмаршал уговаривал пленницу не пренебрегать предложением Доманского, которое при настоящем ее положении должно считаться очень выгодным.

– Я бы вам позволил видетсья с ним без свидетелей и переговорить обо всем, что считаете нужным, – сказал он ей.

Пленница отвечала решительным отказом. Она не хотела видеть Доманского и сказала, что и в таком случае не могла бы выйти за него замуж, если б этот поляк по своему образованию и развитию более подходил к ней, потому что да-

ла клятву князю Филиппу Лимбургскому и считает себя уже неразрывно с ним связанною.

Тогда князь Голицын, во исполнение воли императрицы, обещал пленнице от своего лица исходатайствовать свободу и дозволение отправиться к князю Лимбургу в Оберштейн, но только в таком случае, если она откроет ему свое происхождение.

Луч надежды на свободу, казалось, животворно подействовал на больную женщину. С неподдельным чувством благодарила она фельдмаршала, но затем сказала, что, к сожалению, ничего не может прибавить к сказанному прежде о своем происхождении. Не верила ли она обещанию князя Голицына, не решалась ли возвратиться к друзьям после окончательно скомпрометировавшей ее истории, после беременности, которая не могла остаться в тайне, опасалась ли, что они отвернутся от сидевшей в крепости самозванки, близость ли смерти, которую она уже чувствовала, удерживали ее воспользоваться предлагаемою свободой?.. Она, впрочем, попросила перо и при князе Голицыне написала дополнение к своему сознанию, но написанные ею сведения были совершенно ничтожны. Она написала, что на шестом году от рождения ее посылали из Киля в Сион (в Швейцарии), потом снова возвратили в Киль через область, управляемую Кейтом⁷¹, что о тайне рождения ее знал некто Шмидт, дававший ей уроки, и что в детстве помнит она еще какого-то барона

⁷¹ Ганновер?

фон-Штерна и его жену, и данцигского купца Шумана, который платил в Киле за ее содержание. «Меня постоянно держали в неизвестности о том, кто были мои родители, – заключила она. – Впрочем, я тогда мало заботилась об этом, не ожидая от того никакой пользы».

Князь Голицын, прочтя это признание и не найдя в нем того, что надеялся видеть, ушел от пленницы, объявив, что она, как нераскаявшаяся государственная преступница, осуждается на вечное заключение в крепости.

Больше он уже не видал этой несчастной женщины.

Августа 12 он доносил императрице о «бесстыдном упорстве арестантки во всем». «Это упорство, – писал фельдмаршал, – показала она в последнее со мною свидание, когда ни Доманский, ни она не прибавили ни слова к данным прежде показаниям, несмотря на то, что обоим обещаны были, казалось бы, высшие из земных благ, каких они желают: ему – обладание прекрасною женщиной, в которую он влюблен до безумия, ей – свобода и возвращение в свое графство Оберштейн. Все старания арестантки, – продолжал князь Голицын, – истолковать в свою пользу дело о найденных у нее духовных завещаниях, возмутительном манифесте и прочих бумагах вполне опровергаются тем, что они писаны ею собственноручно. Из показаний ее ясно только одно, что она бесстыдна, бессовестна, лжива и зла до крайности. Все мои старания узнать от нее истину об ее сообщниках остались совершенно напрасными. Ничто не подействовало на нее: ни

увещания, ни строгость, ни ограничение в пище, одежде и вообще в потребностях жизни, ни разлучение со служанкой, ни постоянное, наконец, присутствие караульных солдат в ее комнате. Впрочем, – заключил фельдмаршал, – может быть, эти меры и будут со временем в состоянии довести ее до полного признания, так как совершенное лишение надежды на свободу, по всей вероятности, не останется без влияния на арестантку».

XXXVIII

Больная оставалась в самом строгом заключении. Хотя ее держали в верхнем этаже Алексеевского рavelина, в помещении сухом, светлом, состоявшем из нескольких комнат, хотя ей давали хорошую пищу, которую готовили на комендантской кухне особо от назначенной для других арестантов, но лишение свободы разрушительно на нее подействовало. Она никого не видала, кроме прислуживающих ей караульных солдат да глуповатой Франциски. Доктор продолжал навещать ее и следил, как чахотка с каждым днем усиливается и приближает смертный конец пленницы. Так прошли август, сентябрь и первая половина октября. В октябре больная совершение ослабела. Она уже не вставала с постели, болезненные припадки возвращались к ней чаще и чаще. Доктор несколько раз уведомлял князя Голицына, что смерть быстро приближается к пленнице.

Прошел ноябрь. Пленница разрешилась от бремени. Граф Алексей Григорьевич Орлов, обольстивший из усердия к службе несчастную женщину, сделался отцом. Как обыкновенно случается с женщинами, которые страдают чахоткой во время беременности, болезнь сильнее овладела пленницей после разрешения. Смерть была близка. Что чувствовала мать при взгляде на рожденного младенца?

Гельбиг, живший в Петербурге в составе саксонской мис-

сии при нашем дворе и хорошо знавший придворные тайны, говорит, что привезенная Грейгом принцесса, находясь в Петропавловской крепости, родила графу Орлову сына, которого крестили генерал-прокурор князь Вяземский и жена коменданта крепости Андрея Григорьевича Чернышева и который получил фамилию Чесменского. Александр Алексеевич Чесменский, побочный сын графа Орлова, действительно служил впоследствии в конной гвардии и умер в молодых годах. Что он был побочный сын графа Алексея Григорьевича, это не подлежит никакому сомнению, но действительно ли мать его была не кто другая, как «всклепавшая на себя имя» принцесса Владимирская, – утвердительно сказать нельзя, пока не будет извлечено из архивов все относящееся как до истинной дочери императрицы Елизаветы Петровны, так и до самозванки, судьбу которой мы описываем. Сообщенные графом В. Н. Потемкиным в императорское Московское общество истории и древностей извлечение из дела о самозванке – далеко не полны. Кроме того, в московском архиве иностранных дел, именно в польских бумагах, есть, говорят, немало сведений о самозванке⁷².

Ноября 30 больная находилась уже в таком положении, что каждую минуту ожидали ее последнего вздоха. Она едва могла сказать доктору, что желает видеть священника и приготовиться к смерти. Доктор передал желание умирающей фельдмаршалу.

⁷² Как сказывали нам работавшие в этом архиве.

Руководствуясь прежним повелением государыни, он призвал священника Казанского собора Петра Андреева, умевшего говорить по-немецки. Под страхом смертной казни и «взяв с священника клятвенное обещание», что он вечно будет молчать обо всем, что увидит и о чем услышит, князь Голицын рассказал ему о пленнице и поручил постараться довести ее на исповеди до раскаяния и полного признания в том, кто она такая в действительности, кто подал ей мысль назваться дочерью императрицы Елизаветы Петровны и кто были сообщники в ее замыслах.

Больная с радостью приняла священника. Началась исповедь, и пленница сказала духовнику: «Я крещена по обряду греко-восточной церкви. Об этом я слыхала в Киле от воспитывавших меня до девятого года моего возраста. С тех пор я жила в разных государствах, между прочим, в Англии и Франции, потом получила в собственность графство Оберштейн в Германии и жила там. Позже провела несколько месяцев в Рагузе, оттуда поехала в Рим, затем в Пизу, приглашена графом Алексеем Орловым в Ливорно, посажена на русский корабль, привезена в Петербург и посажена в крепость».

– Где же вы родились и кто ваши родители? – опросил священник.

– Бог свидетель – не знаю, – отвечала умирающая.

Затем говорила она духовнику, что хотя крещена по греко-восточному обряду и потому считает себя принадлежа-

щею к православной церкви, но до сих пор еще ни разу не исповедывалась и не причащалась. Греко-восточного катехизиса не учила и о христианском законе узнала только то, что вычитала в Библии и некоторых французских книгах духовного содержания. Но она верует в бога, во св. троицу и нимало не сомневается в непреложных истинах Символа веры.

Духовник стал увещевать пленницу с полным раскаянием сознаться во всех злых намерениях против государыни и в том, что она выдавала себя за дочь покойной императрицы Елизаветы Петровны.

– Свидетельствуюсь богом, что никогда я не имела намерений, которые мне приписывают, никогда сама не распространяла о себе слухов, что я дочь императрицы Елизаветы Петровны.

Духовник спросил о сообщниках, о том, откуда у нее появились духовные завещания Петра I, Екатерины I и Елизаветы Петровны, возмутительный манифест к русской эскадре, письма к султану и другие документы, о которых священник предварительно узнал от князя Голицына.

– Все это получено мной от неизвестного лица при анонимном письме.

– Вы стоите на краю могилы, – сказал священник, – вспомните о вечной жизни и скажите истину.

– Стоя на краю гроба и ожидая суда пред самым всевышним богом, – сказала она, – уверяю, что все, что ни говорила я князю Голицыну, что ни писала к нему и к императрице, –

правда. Прибавить к сказанному ничего не могу, потому что ничего больше не знаю.

– Но кто были у вас соучастники?

– Никаких соучастников... не было... потому что... и преступных замыслов... мне приписываемых... не было.

Она не могла больше говорить. Случился сильный припадок. Когда он миновал, пленница едва слышным голосом сказала священнику, что она чувствует себя чрезвычайно слабою для продолжения исповеди, просит помолиться за нее и посетить на другой день.

Священник был у нее и на другой день (2 декабря). Исповедь началась снова. Пленница глубоко раскаивалась, что огорчала бога греховною своею жизнью, что с ранней юности постоянно жила в телесной нечистоте, часто отдавалась то одному мужчине, то другому, что чувствует себя великою грешницей, жившею противно заповедям господним. По разрешении сих грехов, духовник возобновил вчерашние увещания, чтоб умирающая сказала всю истину об ее происхождении и замыслах против императрицы и указала бы на тех, кто внушил ей мысль назваться русскою великою княжной и кто был соучастником в ее замыслах. Больная опять сказала, что сама не знает о своем происхождении и, не имея никаких преступных замыслов против России и императрицы Екатерины, не имела и сообщников. Она говорила все слабее и слабее; священник, наконец, не мог понимать слов умирающей. Началась агония.

Он оставил ее, не удостоив святого причастия.

На другой день (3 декабря) князь Голицын доносил императрице, что и посредством самой исповеди не удалось исторгнуть полного признания от умирающей самозванки. Донесение священника было также отправлено к императрице. Фельдмаршал писал также государыне, что по отзывам доктора и священника смерть самозванки должна последовать через несколько часов, почему он и дал приказание зарыть ее в самом рavelине, чтобы ни поляки, с нею посаженные, ни камердинеры, ни Франциска фон-Мешедe не могли узнать, что случилось с нею.

Агония продолжалась долго, более двух суток. В семь часов пополудни 4 декабря 1775 года пленница испустила последний вздох, унеся в могилу тайну своего рождения, если только знала ее.

На следующий день солдаты, бессменно стоявшие при ней на часах, выкопали в Алексеевском рavelине глубокую яму и тайно зарыли в нее труп пленницы. Никаких погребальных обрядов совершено не было.

Декабря 7 князь Голицын донес императрице о смерти «всклепавшей на себя имя».

XXXIX

К новому 1776 году императрица возвратилась из Москвы в Петербург. Возвратились двор и высшие правительственные лица, в числе их и генерал-прокурор князь Вяземский. Ему, вместе с фельдмаршалом князем Голицыным, поручено было кончить в тайной экспедиции дело о «всклепавшей на себя имя» или, точнее сказать, дело о сопровождавших ее арестантах.

Смертию загадочной женщины, тайну рождения которой, несмотря на все старания князя Голицына, открыть не могли, дело собственно и оканчивалось. Князь Радзивил, в это время уже находившийся в ладах с королем Понятовским и тем возвративший себе благоволение Екатерины, спокойно жил в своем Несвиже⁷³, невозбранно пользуясь громадными доходами с своих литовских маетностей. Он, по обыкновению, окружал себя огромною свитой прихлебателей, хватался и безнаказанно лгал перед ними, охотился с магнатами, а иногда и с ксендзами, на медведей, бражничал с боготворившею его шляхтой, перебранивался с виленским римско-католическим епископом, от времени до времени делал свойственные ему одному эксцентрические выходки⁷⁴, зада-

⁷³ Минской губернии, Слуцкого уезда.

⁷⁴ Так, однажды во время бала, на который съехалось в Несвиж множество гостей, князь Радзивил сказал, что завтра будет зима. А дело было в жаркую лет-

вал баснословно роскошные праздники и совершенно бросил политические замыслы, которые обошлись ему не дешево. Конечно, новая жизнь его в Несвиже была не такова, как до Барской конфедерации, когда «пане коханку» с полным сознанием собственного достоинства говаривал: «Krol sobie kiyem w Krakowie, a ja w Neswizu». Вооруженные укрепления его города были уничтожены русскими еще в 1768 году, и Радзивил не смел возобновлять их, но все же богатства его были огромны, и он мог доживать свой век спокойно и с полной возможностью тешить своеобразный нрав свой⁷⁵. Михаил Огинский также прекратил тайную вражду

новую пору. Поутру гости его увидели, что действительно снег покрыл землю. Поданы были сани, и «пане коханку» с гостями проехал по снегу из замка до костела, несмотря на то, что солнце палило. Он за ночь приказал усыпать дорогу солью.

⁷⁵ По возвращении в Несвиж «пане коханку» однажды на охоте расхвастался не в меру, по своему обыкновению. Шляхтич Бродовский, которого князь Радзивил очень жаловал, заметил несообразность его рассказов и без церемонии назвал их ложью. «Пане коханку» рассердился и при многочисленных участниках охоты дал своему приятелю поновесную пощечину. Бродовский кинулся было на своего патрона с ножом, но его удержали. Оскорбленный подал жалобу в трибунал, но польские судьи, постоянно отличавшиеся не только подкупностью, но и бескорыстной подлостью перед магнатами, не признали Радзивила виновным. Тяжба продолжалась долго, и бедняк Бродовский дошел до крайности. Узнав, что в Несвижском замке назначен блистательный праздник, Бродовский разоделся и явился в залах Радзивила во время самого разгара бала. Увидав незваного гостя, Радзивил с изумлением подошел к нему и спросил: «Что это значит, пане коханку? Зачем вы пожаловали ко мне?» Толпа магнатов, шляхтичей, дам окружила бывших друзей. «Я пришел к вашей княжеской милости, – громогласно отвечал Бродовский, – сказать вам, кто самые пошлые дураки во всем свете. Их двое: первый дурак – ваша княжеская милость, а второй – я. Яснофельможный князь

с королем, пользовался благоволением императрицы Екатерины, строил знаменитый, названный именем его канал, соединяющий Неман с Припятью, и нередко бывал в Петербурге. Польские магнаты, иезуиты и другие люди, невидимо заправлявшие хитро придуманною интригой и выведшие на политическую арену несчастную женщину, конечно, и не вспоминали о ней. Ничего не знали, что случилось с принцессой Владимирскою, ее друзья в Париже, в Трире, в Оберштейне. Дело о ней хранилось в строжайшей тайне, особенно от иностранных дипломатов. Так, например, барон Сакен, польский резидент при дворе Екатерины, только 8 июня 1775 года, то есть почти через месяц, доносил в Париж, что адмирал Грейг привез в Кронштадт женщину, называвшую себя русскою великою княжною, и не ранее половины февраля 1776 года, то есть через два с половиною месяца после смерти пленницы, писал, что *сумасшедшая*, так называемая принцесса Елизавета, вскоре после того, как привезена в Петербург, отправлена будто бы в Шлиссельбургскую крепость и там умерла 14 февраля от болезни.

Долго ли тосковал по очаровательной Алине искренно любивший ее князь Филипп Лимбург, вспоминали ли о ней другие ее обожатели – не знаем. Но кредиторы денег не получили.

дурак потому, что вздумал бороться с русскою императрицей, а я дурак потому, что вздумал бороться с вашею княжескою милостию». Такое сравнение с Екатериной очень польстило князю Радзивилу, и он обнял старого своего приятеля. Дружеские отношения их возобновились.

О спутниках принцессы 13 января 1776 года в тайной экспедиции фельдмаршалом князем Голицыным и генерал-прокурором князем Вяземским постановлен был следующий приговор: «Принимая во уважение, что нельзя доказать участие Чарномского и Доманского в преступных замыслах самозванки, ни в чем не сознавшей, что они оставались при ней скорее по легкомыслию и *не зная намерений* обманщицы, к тому же Доманский был увлечен и страстью к ней, положено следствие об обоих прекратить. Хотя они уже за то, что следовали за преступницей, вполне заслуживали бы быть сосланными в вечное заточение, но им вменяется в достаточное наказание долговременное заключение, и они отпускаются в свое отечество с выдачею им вспомоществования *по сту рублей* каждому и под клятвою вечного молчания о преступнице и своем заключении».

Таким образом и теперь, при решении участи Чарномского, не было обращено должного внимания на принадлежавшие ему бумаги польской генеральной конфедерации. А в числе их были очень важные, например, манифесты конфедерации против раздела Польши 1772 года, подлинные письма конфедерации к султану и визирю, турецкие паспорта ее агентам, многие польские письма. И граф Орлов, и фельдмаршал князь Голицын, и все другие полагали, как видно, что они принадлежат самой пленнице, и напрасно добивались от нее признания относительно их. Она не выдала Чарномского. А вероятнее всего то, что следователи не хоте-

ли поднимать затухшего, как казалось тогда, польского дела и тревожить покой ясновельможных панов, вроде «пане коханку». И странно кажется теперь, что тайная экспедиция, имея под руками все бумаги, вполне положила на показания Чарномского и Доманского. Их показания о причинах, побуждавших их следовать за принцессой из Рагузы в Италию, за исключением разве страстной любви Доманского, с первого взгляда представляются не заслуживающими вероятия. Трудно допустить, чтобы столь заметный в польской конфедерации деятель, как Чарномский, поехал с принцессой в Рим и забыл возложенные на него конфедерацией поручения единственно из дружбы к приятелю и из желания посмотреть на Рим, где на этот раз и папы нельзя было видеть. Сам же он говорил, что в последнее время пребывания их в Рагузе французский консул предостерегал его относительно принцессы, говоря, что ей не следует верить. И что же? Он, как сам говорит, перестал верить, что она русская великая княжна, а между тем, имея при себе официальные письма конфедерации, имея на руках важные дела, которые безотлагательно должен был исполнить, ни с того ни с сего поехал вслед за женщиной, которую считал искательницей приключений, и остался при ней до самого арестования. Если принцесса и выманила у него через Доманского деньги, без которых он не мог ехать в Константинополь, отчего же не отправился он в Верону к графу Потоцкому с повинною головой? Не он был первый и не он последний из поляков, про-

матывавших общественные деньги конфедерации и в более значительных суммах. Если бы Чарномский явился к графу Потоцкому, этот пожурил бы его, быть может, раскричался, быть может, досталось бы и шляхетной спине Чарномского (примеры тому бывали), но ни в каком случае не выдал бы агента конфедерации на жертву случайностей, которым тот неминуемо подвергнулся в обществе искательницы приключений, игравшей в столь опасную игру.

Столь же невероятно и показание Доманского, что желание увидеть Рим побудило его сопровождать самозванку. Не обращено было при следствии внимания и на противоречие его: то он говорил, что поехал из Рагузы вслед за графиней Пиннеберг с целью получить с нее 800 червонцев, которые она заняла у него, то утверждал, что, получив ее приказание ехать в Италию, рад был воспользоваться случаем посетить на ее счет Рим. Но как бы то ни было, и Чарномский, и Доманский, по решению тайной экспедиции, были отправлены в Польшу. За всех пострадала одна «всклепавшая на себя имя», хотя на краю гроба, на тайне исповеди, будучи уже едва в состоянии говорить, она настоятельно, именем самого бога, уверяла, что сама никогда не разглашала о царственном своем происхождении.

Не знаем, что случилось с Чарномским и Доманским по их освобождении. В марте 1776 года они были выпровождены из Петербурга за границу вместе с камердинерами Рихтером и Лабенским. Более года пробыли они под арестом на кораб-

ле и в Петропавловской крепости.

О камермедхен принцессы тайная экспедиция того же 13 января 1776 года постановила: «умственная слабость Франциски фон-Мешеде не допускает никакого подозрения в ее сообщничестве с умершею, посему отвезти ее за границу, и так как она не получала никакого жалованья от обманщицы, находится в бедности, а между тем дворянского происхождения, то отдать ей старые вещи покойницы и *полтораста рублей* на дорогу». Тотчас же она была отвезена в Ригу, откуда отправлена в Пруссию, ее отечество.

Камердинеров Рихтера и Лабенского, находившихся при Доманском и Чарномском, а также служителей самой принцессы, Кальтфингера, Маркезини и Анчиотти, тайная экспедиция определила выслать за границу, дав каждому по *пятидесяти рублей*, но с тем чтоб они дали клятву до смерти своей не сказывать никому, что с ними происходило и за что они содержались в Петропавловской крепости. Кальтфингер и оба итальянца были отправлены из Петербурга в Ригу, а оттуда за границу, в январе 1776 года вместе с Франциской фон-Мешеде.

XL

Тем дело и кончилось. Осталась одна безвестная могила в Алексеевском рavelине, в которую солдаты тайно опустили труп загадочной женщины и закидали его мерзлую землей.

В 1826 году, когда в Петропавловской крепости содержались участники происшествия 14 декабря 1825 года, близ Алексеевскою ravelина, на небольшой площадке, обращенной в садик, находилась насыпь. Старожилы крепости сказывали, что это могила княжны Таракановой⁷⁶, то есть, как теперь оказывается, самозванки Таракановой.

С каким секретом ни содержали захваченную графом Орловым женщину, какую таинственностью ни окружили смерть ее и погребение, несмотря на то, еще в царствование Екатерины разнеслись по Петербургу и оттуда пошли по другим местам слухи, будто в Петропавловской крепости уморили «дочь императрицы Елизаветы Петровны». Правду сказал барон Сакен, донося польскому правительству: «мне из верных источников известно, и я положительно знаю, что смерть сумасшедшей, так называемой принцессы Елизаветы, последовала совершенно естественно, но, вероятно, это не помешает распространению разных слухов». Гельбиг, живший в то время при саксонском посольстве в Петербур-

⁷⁶ Ср. «Русский Архив», 1865 г., № 1, стр. 93.

ге, также говорит, что смерть пленницы последовала после кратковременной болезни в 1776 году и *возбудила разные подозрения.*

Прошло два года по смерти так называемой принцессы Елизаветы. В 1777 году случилось сильное наводнение в Петербурге, большее, чем в 1824 году. Казематы Петропавловской крепости были залиты. После этого стали рассказывать, будто заточенную «княжну Тараканову» не вывели из каземата, или не хотели вывести, и она утонула. Со временем этот слух вполне утвердился, хотя, как оказывается, бедная пленница содержалась в верхних отделениях Алексеевскою рavelина, куда во время наводнения вода едва ли могла достигнуть, и умерла двумя годами раньше наводнения...

Прошел еще год или два. В Алексеевский рavelин посажен был один авантюрист, по фамилии Винский.

Это был небогатый дворянин, учившийся в Киевской духовной академии, а потом служивший сержантом лейб-гвардии в Измайловском полку. Вовлеченный в одно политическое дело, был он арестован с несколькими другими гвардейскими офицерами. Сначала его содержали в Петропавловской крепости, а потом сослали на житье в Оренбург, где он и прожил больше тридцати лет и прощен уже императором Александром Павловичем. Винский вел записки обо всем виденном им и слышанном. Эти любопытные записки находились в руках покойного Александра Ивановича Тургенева и несколько раз читались в небольшом обществе.

В своих записках Винский говорит, что когда арестованные с ним одни были легко оштрафованы, а другие – прощены, его, как не имевшего ни связей, ни протекций, оставили в крепости и улучшили его положение в том только отношении, что перевели снизу вверх, из душного, темного каземата в Алексеевский рavelин, в светлое помещение, состоявшее из нескольких комнат. Винский от нечего делать смотрел и, можно сказать, изучал все, что находил в новом своем жилище. Стоя у окна, он заметил, что на стекле нацарапаны алмазом слова: «*O mio Dio!*» Винский, разумеется, заинтересовался надписью и, когда сторож, давно служивший при отделении, принес ему пищу, спросил его: кто прежде содержался в этих комнатах и кто мог написать на стекле итальянские слова?

– Некому другому написать этих слов, – отвечал сторож, – кроме барыни, которая до вас здесь сидела. Она была привезена откуда-то издалека. Была молода, собой красавица и, должно быть, знатного рода, потому что ей прислуживали и за ней ухаживали не как за простою арестанткой. Прислуги у ней было много, кушанье ей носили хорошее, с комендантской кухни. Вскоре после того, как ее здесь поместили, приезжал к ней сам граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский. Оставшись с ним глаз на глаз, долго и громко она говорила с ним, так что из коридора можно было слышать все от слова до слова. Она очень сердилась на графа, кричала и, должно быть, бранила его за что-то, даже топала ногами. О

чем они говорили, понять было нельзя, потому что барыня по-русски не умела, и они разговаривали на каком-то иностранном языке. Граф уехал и после того более не приезжал. А ее привезли беременную, она здесь и родила. Что было с ней потом – не знаю. Я тогда отпросился к родным, в побывку, а когда после отпуска воротился к своему месту, здешнее отделение было пусто. Оно оставалось пустым до сих пор⁷⁷.

⁷⁷ «Северная пчела», 1860 г., № 53.